

Цитадель

АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ



Правильные книги

Антуан де Сент-Экзюпери

Цитадель

«ЭКСМО»

1948

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

де Сент-Экзюпери А.

Цитадель / А. де Сент-Экзюпери — «Эксмо»,
1948 — (Правильные книги)

ISBN 978-5-04-091730-3

«Цитадель» – последнее, незаконченное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Это книга, которую автор «Маленького принца» считал своей любимой и в которую вложил свои самые глубокие мысли. «Цитадель» – книга-лабиринт: странствуя по ней, открываешь новые пространства мысли и чувства. «Цитадель» – книга-медитация: дочитав ее, становишься чуточку иным.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-091730-3

© де Сент-Экзюпери А., 1948

© Эксмо, 1948

Содержание

I	7
II	11
III	13
IV	16
V	18
VI	20
VII	23
VIII	25
IX	28
X	30
XI	32
XII	35
XIII	37
XIV	39
XV	40
XVI	41
XVII	44
XVIII	47
XIX	48
XX	51
XXI	53
XXII	55
XXIII	58
XXIV	59
XXV	60
XXVI	61
XXVII	63
XXVIII	64
XXIX	66
XXX	68
XXXI	70
XXXII	71
XXXIII	73
XXXIV	74
XXXV	75
XXXVI	77
XXXVII	78
XXXVIII	79
XXXIX	81
XL	83
XLI	84
XLII	85
XLIII	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Антуан де Сент-Экзюпери

Цитадель

Antoine de Saint-Exupéry
CITADELLE

© Editions Gallimard, Paris, 2000

Серия «Правильные книги»

© Кожевникова М., перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *



I

...Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается, но нас поставили над людьми. Мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь. Мы должны смотреть в глубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, – они трогают сердца женщин, – отказываю умирающим и мертвым. И знаю почему.

Были времена в моей юности, когда я, видя гнойные язвы нищих, жалел их, нанимал им целителей, покупал притирания и мази. Караваны везли ко мне золотой бальзам с дальних островов.

Но потом я увидел, что нищие расковыривают свои болячки, смачивают их навозной жижей, – так садовник унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, – и понял: смрад и зловоние – сокровище попрошайек. Нищие гордились друг перед другом своими язвами, бахвалились выручкой, и тот, кто получал больше других, возвышался в собственных глазах, чувствуя себя верховным жрецом при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили нищие к моему целителю, предвкушая, как поразится он обилию их зловонных язв. Защищая свое место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки – поклонением. Но выздоровев, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, – бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с площадками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога.

Во времена моей юности я сочувствовал и умирающим. Мне казалось, осужденный мною на смерть в пустыне угасает, изнемогая от безнадежного одиночества. Я не знал еще, что в смертный час нет одиноких. Не знал и о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого гроша, собирает в свой последний час домочадцев и с безразличием справедливости оделяет их, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчал, заботясь не о себе – о товарищах. Мы восхищаемся: «Какая самоотверженность!» Но я заметил в ней и затаенное пренебрежение. И догадался, почему иссыхающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий с голода отказался от корки хлеба. Они успели отстраниться от телесного и с королевским безразличием отодвинули от себя кость, в которую жадно вгрызутся другие.

Я видел женщин, они жалели погибших на поле боя. Жалели, потому что мы слишком много врали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли погибнуть. Но вернулись и гибелью товарищей устрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая безвыходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избранникам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них – инструмент, он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным, и, значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело незначительная частица обширного имения, вроде осла на привязи во дворе. А потом наступает агония: прилив, отлив, – волны памяти бередают сознание, омывают пережитым, вздымаются, опадают, приносят и уносят камешки воспоминаний, звучащие раковины голосов. Дотянулись, раскачали сердце, и, словно нити водорослей, ожили сердечные привязанности. Но равенство уже приготовило последний отлив, пустеет сердце, и волна пережитого отходит Господу.

Все, кто живы, – я знаю, – боятся умереть. Они заранее напуганы предстоящей встречей. Но поверьте, я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий. Так за что же мне жалеть его? О чем плакать у его изголовья?

Мне известно и преимущество мертвых.

Легка была кончина юной пленницы. Мне было шестнадцать, и ее смерть стала для меня откровением. Когда ее принесли, она уже умирала, кашляла в платок и, как загнанная газель, прерывисто, часто дышала. Но не смерть занимала ее, ей хотелось одного – улыбнуться. Улыбка веяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День ото дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и, когда наконец обозначилась, лебедь улетела в небо, оставив след, полумесяц губ.

А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца поседел. Его раздавило величие, которым исполнилась земная брэнная оболочка, прободенная его кинжалом. Не жертва – царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, причиной которого стал он сам, поймало его в ловушку, обессилило и сковало. На заре в царской опочивальне слуги нашли убийцу: он стоял на коленях перед мертвым царем.

Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня затаили дыхание и мы. Даже после того, как мы похоронили его, плечи у нас не расправились и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем и, опуская гроб на скрипучих веревках в землю, знали, что заботливо укрываем накопленное, а не хороним покойника. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас. От отца я узнал, что такое смерть. Он рано заставил меня взглянуть ей в лицо, и сам перед ней не опускал глаз. Кровь орла текла в его жилах.

Случилось это в проклятый год, который называли потом годом «солнечных пиршеств». Пируя, солнце раздвигало пустыню. На слепящем глаза раскаленном песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творенья и, как ребенок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками.

Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высосало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески «зеркалом». Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отражения бестелесны и мимолетны. Ибо и зеркала иногда больно слепят глаза, будто солончаки.

Сбившись с тропы, караваны попадали в плен зеркала. Зеркало никогда не выпускало своей добычи, но откуда им было знать об этом? Вокруг ничего не менялось, только жизнь превращалась в призрак, в тень, отброшенную беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске, но верил, что движется; переселялся в вечность, но считал, что живет. Погонщики погоняли верблюдов, но разве сладить им с бесконечностью? Они торопились к колодцу, которого нет, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада – только отсрочка, которая ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что долго ждать ночи... Нет, ночи реяли над ними, как быстрые взмахи ресниц. Они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им.

Тебе кажется, караван идет? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!..

Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило зеркало: время рассеяло призраки, от них остался – песок.

– Здесь, – сказал мне отец, – был когда-то колодец.

Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда в нем погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада.

К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав шелковистое золото пыльцы, выпвел и караван, пригвожденный к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, булыжниками – золотые слитки, и все это припорошил песок.

Я смотрел, отец говорил:

– Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но, глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви?

Подержав в руках и перелистав книгу Пророка, – продолжал отец, – посмотрев на буквы и золото миниатюр, неграмотный миновал главное. Суть книги не в тщете зримого – в Господней мудрости. И не воск, который оставит следы, главное в свече – сияние света.

Но меня устрасил пиршественный стол Господа Бога с остатками Его жертвенной трапезы. Отец сказал мне:

– Прах – это только прах, не ищи в нем сути. Не медли над мертвецами. Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый.

– Но где она, эта суть? – закричал я отцу.

И отец ответил:

– Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит ее, скала – он огибает ее. Если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда караван идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суетятся, вызволяют их, отыскивают почву понадежней, и снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда, и опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И, выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление – вот для него опорный камень на невидимом склоне.

Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: пусть солнце бичует нежную оболочку ее плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне.

– Сейчас ты поймешь, что для человека главное, – сказал мне отец.

И я опять у него в седле.

Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сияние глаз. Опускалась ночь с мимолетным своим милосердием, когда мы с отцом подъехали к порогу запретной равнины. Там, на темной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетя руки, – точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени, – виновная взывала к милосердию Господа.

– Послушай ее, она говорит о главном, – сказал отец.

Но я был мал и потому малодушен.

– Как она мучается! – сказал я. – Как ей, наверное, страшно...

– Мучается и страшится стадо, укрытое в хлеве, – ответил отец. – Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину.

Я вслушался в ее плач.

Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего здесь, на пустынной равнине, славил знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает несуществование: шерстяную кудель для пряжи, грязную миску, чтобы ее вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее собственного ребенка, а не чужого. Она взывала к спасительной надежности дома. Она молилась, и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни.

Голова осужденной поникла, и отец посадил меня к себе в седло. Мы помчались.

– Вечером в шатрах ты услышишь ропот и возмущение моей жестокостью, – сказал он мне. – Но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение: я куя человека.

Я знал, мой отец добр.

И вот что он говорил:

– Я хочу, чтобы они любили говорливые родники. Ровную зелень ячменя, укрывшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славил сменяющиеся времена года. И созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает наследие одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы мед расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева – щедрой оливы. Ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий древо на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твердая древесина – это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя мое, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в Свое лоно. Но ты не вот этот школьник, и не этот супруг, не вот это дитя, и не этот старец. Осуществление – вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Все вокруг тебя обретает незыблемость. Вечен говорливый родник, утолявший жажду праотцев, вечно сияние глаз улыбнувшейся тебе возлюбленной, вечна и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, – жнецом, увязывающим тугой сноп.

II

С самой высокой башни крепости вижу: не нуждаются в жалости страждущие, успокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур. Усопший, о котором помнят, живее и могущественнее живущего. Вижу смятение живых и сострадаю им.

Их я хочу исцелить от тоски и безнадёжности.

Сострадаю тому, кто открыл глаза в праотеческой тьме и поверил, что кровом ему Божьи звезды, и догадался вдруг, что он в пути.

Я запрещаю расспрашивать его, ибо знаю: нет ответа, который истощил бы любопытство. Вопросающий отверзает бездну.

Глубины сердца ведомы мне, и я знаю: избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю беспокойство, толкающее вора на преступление. Он заблуждается, думая, что зарится на чужое золото. Золото сияет, словно звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она – любовь, всегда тянется к свету, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Сияние завораживает вора, и он совершает кражу за кражей, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает черную воду пруда, чтобы схватить луну. Вор крадет и в мимолетное пламя оргий швыряет прах уворованного. И снова стоит в темноте за углом, бледный, словно перед свиданием, неподвижный из страха спугнуть, надеясь, что так однажды он отыщет то, что утолит его жажду.

Отпусти я его на свободу, он снова будет служить своему божеству, и завтра же моя стража, если я пошлю ее подстригать деревья, схватит его в чужом саду: с колотящимся сердцем он ждал улыбки фортуны.

Но его первого я укрою своей любовью, потому что усердия у него больше, чем у благоразумного в его лавке. Я строю город. Мою крепость я решил заложить здесь. Я хочу остановить идущий караван. Он был семечком в русле ветра. Ветер расточает семена кедра как аромат. Но я встаю на пути ветра. Я укрываю семя землей, чтобы во славу Божию поднялись и оделись смолистой хвоей кедры.

Любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующее, потому что такую любовь возможно насытить.

Только поэтому я затворяю женщину в доме мужа и велю бросить камень в неверную. Мне ли не знать томящей ее жажды? Словно в открытой книге, читаю я в сердце той, что в вечерний час, сулящий чудеса, оперлась на перила: своды небесного моря сомкнулись над ней, и собственная нежность – палац для нее.

Как ощутим для меня ее трепет; рыбка трепещет на песке и зовет волну: голубой плащ всадника. В ночь бросает она свой зов. Кто-то появится и ответит. Но тщетно она будет перебирать плащи, мужчине не насытить ее. Берег, ища обновления, призывает морской прилив, и волны бегут одна за другой. И одна за другой исчезают. Так зачем потворствовать смене мужей: кто любит лишь утро любви, никогда не узнает встречи.

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, – ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, – ту, которая полюбила.

Я перечеркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить ее заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящий поднос из меди, чтобы мало-помалу безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего нездешнего. Дом откроет для нее Бога. Заплачет ребенок, прося грудь, шерсть попросится в руки, и угли очага потребуют: раздуй нас. Так ее приручили, и она готова служить. Ведь я сберегаю аромат

для вечности и леплю вокруг него сосуд. Я – каждодневность, благодаря которой округляется плод. И если я принуждаю женщину позабыть о себе, то только ради того, чтобы вернуть потом Господу не рассеянный ветром слабый вздох, но усердие, нежность и муки, принадлежащие ей одной...

Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершённое. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу.

И я понял: человек – та же крепость. Вот он ломает стены, мечтая вырваться на свободу, но звезды смотрят на беспомощные руины. Что обрел разрушитель, кроме тоски – обительницы развалин? Так пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец, он углубляется каждый день. Взгляд, перебегающий с одного на другое, теряет из виду Господа. И не та, что изменяла, откликаясь на посулы ночи, – о Боге ведаёт та, что смиренно копила себя, не видя ничего, кроме прялки. Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце.

Да, на все есть время – есть время выбирать, что будешь сеять, но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств... Но я служу Господу и поэтому предпочитаю вечность.

Ненавижу перемены. Обрекаю на смерть того, кто в ночи бросает ветру пророчества. Он – ветка, которой коснулось пламенеющее небесное семя. Она искрится, трещит, и от леса остается горсть пепла. Меня пугает вмешательство Бога. Неизменному подобает пребывать в вечном. Да, есть время для зачинания нового, но за ним наступает благодатное время традиций.

Наше дело растить, мирить, сглаживать. Я латаю земные трещины и прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов. Я – лужайка над пропастью. Хранилище, где созревает плод. Паром, что принял из рук Господа поколение и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь получит его точно таким же, каким вручил, – может быть, чуть более зрелым, мудрым и искусным в чеканке серебряных кувшинов, – но суть моего народа пребудет неизменной. Я укрыл мой народ своей любовью, оберегая потомственных мастеров, что из поколения в поколение трудятся, совершенствуя кто корабль, кто щит. Оберегая сказителя, поющего на свой лад безымянную песню – наследство праотцев, ошибаясь и обогащая ее даром своей души. Оберегая беременных и кормящих. Я люблю умножающиеся стада и времена года, которые непременно возвращаются. Прежде всего я – житель. И спасу тебя, моя крепость, цитадель моя и обитель, от посягательств бесплодного песка. Я развешу звонкие рога по твоим стенам. Трубя, они предупредят нас о варварах.

III

Великая истина открылась мне. Я узнал: люди живут. А от того, где живут они, зависит смысл их жизни.

Дорога, ячменное поле, склон холма говорят по-разному с чужаком и с тем, кто среди них родился. Привычный взгляд не дивится выхваченным частностям, он и не видит их, – знакомое с детства ложится ему на сердце.

В разных мирах живут не ведающие о царстве Божиим и ведающие о нем. Неверы смеются над нами, предпочитают воздушным замкам реальные, осязаемые. Но радует только неосязаемое. И если кому-то хочется завладеть лишним стадом овец, то хочется из тщеславия. А утехы тщеславия нельзя потрогать.

Вот почему не находят сути моего царства те, кто перебирает то, что в нем есть. «У тебя есть овцы, козы, ячмень, – перечисляют они, – жилища, горы и что еще, кроме этого?» Кроме этого, нет ничего у них самих, они чувствуют себя несчастными, им холодно. И я понял: они – прозекторы в мертвецкой. «Посмотрите, вот она, жизнь, – говорят они, – кости, мускулы, внутренности, кровь – и ничего больше». Жизнью светились глаза, но света нет в мертвом прахе. И царство мое – вовсе не овцы, не поля, не дома и не горы, оно – то, что объединяет их, превращая в единое целое. Оно – то, что питает во мне любовь. Те, кто любит его, как я, счастливы, как я, и мы живем с ними в одном доме.

Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время стирает нас в пыль и пускает по ветру, лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить. Вот я и перехожу от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от жатвы к жатве, как в детстве переходил из зала совета в диванную, следуя по анфиладе покоев в замке моего отца. Каждая комната в его замке имела свое назначение, каждый шаг в нем был осмыслен.

Законы служат стенам моей крепости, они определяют устройство моего царства. Безрассудный пришел ко мне и стал просить: «Освободи нас от уз своих запретов, и мы станем великими». Но я знал: вместе со скрепами они потеряют ощущение целостности царства и перестанут его любить; ничего не любя больше, они потеряют самих себя, – и решил обогатить их любовью, пусть даже вопреки их желанию. А они, затосковав по свежему ветру, пожелали разрушить замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла.

Велик был замок моего отца, одно крыло его занимали женщины, во внутреннем дворе бормотал родник. (Я повелеваю: пусть в каждом доме бьется подобие сердца, к нему можно приблизиться, отойти, покинуть и возвратиться. Без сердца нет дома. Небытие не означает, что живешь на свободе.) Возле замка были хлевы, были амбары. Случалось, закрома пустовали. Случалось, в хлеве не было скота. Но никогда отец не позволял сделать амбар хлевом, хлев – амбаром.

– Амбар должен оставаться амбаром, – говорил отец, – ты не дома, если не знаешь, куда попал. Что мне за дело до выгод и невыгод? Человек не скот на откорме, любовь для него важнее пользы. Но как любить дом, если в нем хаос, если, идя по нему, не знаешь, куда придешь?

Был в замке зал, где принимали важные посольства. Солнце заглядывало в него лишь в те дни, когда пустыня пылила под копытами всадников и ветер надувал знамена на горизонте, как паруса. Но он пустовал, если к нам приезжали мелкие князьки. Был другой зал, где вершилось правосудие, и еще один, куда приносили усопших. И была в замке пустая комната, назначения которой не знал никто. Возможно, оно и было в том, чтобы сохранять вкус тайны, напоминая, что все познать невозможно.

Рабы с подносами, с кувшинами пробегали по коридорам, отодвигали плечом тяжелые завесы, поднимались наверх, открывали двери, спускались вниз, говорили громко, а прибли-

жаясь к роднику – тише, и становились пугливыми тенями, оказавшись возле женской половины, потому что один, пусть нечаянный, шаг в эту сторону грозил им смертью. А женщины замка? Молчаливые, надменные или боязливые, смотря по тому, кем они в нем были. Я слышу голос безрассудного: «Сколько даром пропавшего места, неиспользованных богатств, неудобства, и все по вине нерадивости. Разрушим бесполезные стены, уничтожим лишние лестницы, они так мешают ходить! Пусть люди почувствуют себя свободными». И отвечаю ему: «Нет, они почувствуют себя овцами на юру и собьются в стадо. Им будет плохо, и с тоски они напридумывают глупых игр. В этих играх тоже будут правила, и жестокие, но в них не будет величия. Замок рождает стихи. Но какие стихи родятся под стук игральных костей? Еще какое-то время люди будут жить призраком замка, читая о нем стихи, но потом исчезнет и призрак. Стихи станут чужими, непонятными... И что тогда будет этим людям в радость?»

Что порадует людей, затерявшихся в мелькании недель, в слепых годах без праздников? Людей, позабывших благородную иерархию, ненавидящих успех соседа и желающих одного: чтобы все вокруг были одинаково несчастны? Люди эти создали смрадное болото, так откуда придет к ним радость?

А я? Я восстанавливаю силовые линии. Строю плотины в горах, удерживаю воды. Я – воплощенная несправедливость и стою на пути естественных склонностей. Я восстанавливаю иерархию там, где люди стали похожи, как капли воды, и растеклись болотом. Я сгибаю полосу в лук. Но несправедливое сегодня окажется справедливым завтра. Я торю дороги там, где о них постарались забыть и назвали спячку счастьем. Что мне до стоячих вод их справедливости? Я тружусь ради человека, созданного прекрасной несправедливостью. Так облагораживаю я свое царство.

Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека, который был создан моим отцом. «Можно ли притеснять подобное совершенство?» – твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснения. Но человек жив, пока сердце помнит запреты. Мало-помалу они забываются. И тот, кого хотели спасти, гибнет.

Вот почему я ненавижу издевку – оружие циников. Циник говорит: «Каких только обычаев у вас не было! Почему бы не переменить и эти?» И еще слова циника: «Зачем держать зерно в амбаре, а овец в хлеву? Можно ведь и наоборот...» Он меняет местами слова. Он не знает, что, кроме слов, существует на свете и другое. Ему невдомек, что человек живет и нуждается для жизни в доме. Наслушавшись циников, люди теряют из виду дом и разрушают его. Так расточают они самое драгоценное из своих сокровищ – смысл существующего. В праздник гордятся тем, что свободны от обычая, что презрели традиции, что чужое им дороже своего. Святотатство радует их, пока остается святотатством. Люди попирают то, что пока еще весомо и ощутимо для них. Живут, пока дышит их враг. Тень закона еще так крепко держит их, что они способны ею возмущаться. Но вот и тень исчезла. Радоваться нечему, забыт даже вкус победы. Наступило царство скуки. Вместо замка они на рыночной площади. Исчерпав удовольствие хвастливо и высокомерно попираť былое, они не знают, что им делать на этой ярмарке. И тогда просыпаются смутные мечты об огромном доме с тысячей окон, с завесами, падающими на плечи, с прохладными двориками. Мечты о потайной комнате, которая придаст вкус тайны всему жилищу... Сами того не подозревая, они тоскуют о замке моего отца, где каждый шаг был осмыслен, – замке, который они успели позабыть.

Я знаю, что будет, и своим произволом мешаю обнищанию сущего, и не желаю слушать твердящих мне о благодати естественных склонностей. Естественные склонности питают лужи ледниковой водой, истирают скалы в песок, разбивают бегущую к морю реку на сотни разбредаящихся ручейков. Естественные склонности ведут к разделению власти и уравниванию людей. Но веду я, и я выбираю. Перед моими глазами кедр, торжествующий над бегом времени. Время должно было обратить его в прах, но вопреки силе, гнущей ствол к земле, год

от года раздвигается гордый храм его кроны. Я – жизнь, я упорядочиваю. Я творю ледники вопреки интересам луж. И пусть лягушки квакают о несправедливости. Я готовлю человека к тому, чтобы он жил.

Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, что он не пальма, и пальму за то, что она не кедр: книжное несварение тяготеет к хаосу. Для закоснелости, позабывшей о жизни, болтун прав: отвлеченно и кедр, и пальма одно и то же и одинаково превратятся в прах. Но жизнь не терпит смещения и борется с естественными склонностями. Из праха она созидает кедр.

Истинность моих законов – в человеке, который порожден ими. Я не считаю, что смысл вот в этом обычае, законе, наречии моего царства. Я знаю другое: складывая камни, творишь тишину, но ничего о ней не узнаешь, разглядывая камни. Знаю, что живет любовь, а бинты и мази только подспорье. Знаю, что ничего не узнает о жизни тот, кто рассечет труп и ощупает печень, сердце, кости. Сами по себе что они значат? Что значат чернила и бумага в книге? Значима мудрость книги, но она вне вещественности.

Я отвергаю споры, в них ничего не рождается.

Язык моего народа, я хочу сберечь и сохранить тебя. Помню умника, который пришел к моему отцу.

– Ты приказал молиться по четкам из тринадцати бусин. Но что есть число тринадцать? Благодать пребудет благодатью, а вот число бусин хорошо бы переменить...

И он стал приводить мудрейшие доводы в пользу четок из двенадцати бусин. Я был мал, а детство податливо на слова. Я смотрел на отца и боялся, что ответ его не затмит блеска этих доводов.

– Так объясни мне, – продолжал гость, – чем так дороги тебе тринадцать бусин?

– Дороги платой, за них заплачено не одной головой, – ответил отец.

Бог помог умнику, он уверовал.

IV

Дом для людей! Рассудку ли тебя строить? Кто способен построить тебя как цепочку логических заключений? Ты – реальность, но ты – нереальность тоже. Ты есть, и тебя нет. Сущность твоя – разнородность, и для того, чтобы ты появился, нужно тебя сотворить. Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, черепица – чему способны они научить, если распался замысел зодчего, который объединил их воедино? Камень нуждается в сердце и душе человека.

Логика привела нас к кирпичу, к черепице, но ничего не сказала ни о душе, ни о сердце, которые соединили их и преобразили в тишину. Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам. Вот почему необходим я и мой произвол. Я – зодчий. Душа и сердце. Я прихожу и берусь за окружающий меня материал. Все вокруг – глина, и я начинаю трудиться, подчиняя ее творческому замыслу, рожденному во мне Господом, а не логикой. Я творю свое царство, одержимый духом, который воплотится в нем, творю так же, как пишутся стихи, не давая никому отчета, почему переставил запятую, почему заменил слово, – дух, открывшийся сердцу, ищет сказаться и ведет.

Я – правитель. Я предписываю законы, учреждаю празднества, требую жертв. Отары овец и коз, дома и горные кряжи я превращаю в царство, похожее на замок моего отца, где каждый шаг был осмыслен.

Как распорядились бы они без меня доставшейся им кучей кирпича? Перетаскивали бы справа налево, чтобы вовсе забыть о порядке? Но я взял в свои руки бразды правления, и я осуществил выбор. Выбрал за всех, и все теперь могут молиться в тишине и прохладе, сотворенных мной из бессмысленной кучи кирпичей. Кирпичей, которые я подчинил замыслу, рожденному моим сердцем.

Я веду. Я – вождь. Я – мастер. Я отвечаю за созидание. И зову всех других себе на помощь. Потому что я понял: вождь не тот, кто способен хранить ведомых; вождь – тот, кто с помощью ведомых способен сохранить себя. Я и только я – творец картины, собравшей воедино отары и дома, коз и горные кряжи, – картины, в которую мой народ влюбился, словно в юную богиню, раскрывшую ему на заре объятья, – картины, которой никто еще и никогда не видал. Моему народу полюбилось царство, созданное произволом моего творчества. Он полюбил его, а значит, полюбил и меня – зодчего. В статуе любят не глину, не бронзу, не мрамор – душу ваятеля. Теперь мне хочется, чтобы народ чтил мое царство. Но чтить его он будет только после того, как напится кровью собственного сердца. Принесет ему жертвы. Новое царство потребует от людей их плоти и крови, чтобы стать выражением их самих. И когда так будет, люди не смогут жить вне божественной упорядоченности, явленной им как веление сердца зодчего. Вечера их наполнятся усердием. И отец, как только у сына откроются глаза, будет учить малыша различать облик царства, который не так-то легко разглядеть среди подробности мира.

И если я сумею сделать мое царство таким высоким, что и звезды найдут в нем свое место, то народ мой, встречая ночь на пороге, поднимет глаза к небу и возблагодарит Господа за то, что Он мудро ведет Свои корабли. И если мое царство окажется столь протяженным, что его хватит на всю человеческую жизнь, то народ мой будет идти от праздника к празднику, словно от преддверия к преддверию, зная, что будет за дверями, и различая среди подробности мира лик Господа.

Царство мое! Я строил тебя, как корабль. Крепил, оснащал, и теперь ты плывешь в потоке времени, который стал тебе попутным ветром.

Корабль людей, без него им не добраться до вечности.

Но я вижу, сколько опасностей грозит моему кораблю. Вокруг бушует беспокойное море неведомого. Мне предлагают все новые и новые курсы. Любой путь возможен, потому что всегда возможно разобрать построенный храм и сложить новый. Он не будет лживей старого и не будет истинней, не будет грешней и не будет праведней. Камни не помнят, какой была тишина, поэтому никого не коснется чувство утраты...

Вот почему я забочусь о мидель-шпангоутах моего корабля. Они должны послужить не одному поколению. Никогда не украсить храм, если что ни год возводить новый фундамент.

V

Да, я забочусь о мидель-шпангоутах и хочу, чтобы мой народ всегда помнил о них. Мой корабль хрупок, он – творение человеческих рук. А вокруг слепые стихии, могучие и неведомые. Слишком много покоя окажется у того, кто будет искать его посреди бушующего моря.

Вечным кажется людям доставшееся им царство. Очевидность всегда кажется неизблемой. Обжившись на корабле, люди не замечают моря. Оно для них рама, что обрамляет их корабль. Такова особенность человеческого рассудка. Ему свойственно верить, что море создано для корабля.

Но рассудок не прав.

Одному ваятелю видится в камне женское лицо, другому – мужское. Каждый видит свое. Ты убедишься в этом, разглядывая созвездия: вот одно из них – лебедь. Но кто-то скажет тебе: эти звезды напоминают спящую женщину. Да, напоминают, но мы увидели ее слишком поздно. Нам не избавиться от лебедя. Лебедь – игра фантазии, но он поймал нас и крепко держит. Однако если вдруг забыть, что лебедь лишь прихоть воображения, и счесть, что он существует на самом деле, мы перестанем оберегать его. И я понял, чем опасен для меня безрассудный, чем фокусник. Им ничего не стоит сотворить множество новых картинок. Главное для них – ловкость собственных рук. Стоит понаблюдать за их жонглерством, и мое царство вскоре тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и четвертовать фокусника. Не потому, что мои законники доказали, что картинки его лживы. Нет, не лживы. Но истины в них тоже нет. Я не хочу, чтобы фокусник думал, будто он умнее и справедливее моих законников. Неправота его в том, что он возомнил себя правым. В том, что творения своих рук счел истиной, что ослепил всех эфемерным фейерверком, за которым не стоит ни истории, ни традиций, ни религии. Он соблазняет порядком, которого еще нет. Мой есть. И я убираю фокусника, оберегая мой народ от хаоса.

Позабывший о том, что наше царство – корабль посреди безбрежного моря, обречен на гибель. Он увидит, как волны сметут все глупые игры вместе с кораблем.

Это сравнение пришло ко мне в открытом море, когда я с небольшой частью моего народа отправился на корабле путешествовать.

Вот он, мой народ, – пленник корабля, затерянного посреди моря. Молча и не спеша я обошел корабль. Люди сидели, склонившись над подносами с едой, кормили детей, перебирали четки и молились. Мой народ жил. Царством ему стал корабль.

Но однажды ночью стихия очнулась. В безмолвии моей любви я пошел посмотреть, что делает мой народ, и увидел: он занят своей жизнью. По-прежнему куются кольца, прядется шерсть, ведутся тихие разговоры, – люди без усталости трудятся, чтобы не оборвались связующие их нити, чтобы преодолеть отъединенность и стать единым целым, где смерть одного – потеря для каждого. С молчаливой любовью я слушал их голоса. Я не слушал, о чем они говорят, о чайниках или болезнях. Я знаю: смысл вещей не в вещах – в устремленности. И тот, кто от души улыбнулся, подарил сам себя, а тот, кто томится скукой, тоскует от того, что оставлен Господом. Вот какими я видел их в безмолвии моей любви.

А тем временем море, о котором и знать ничего невозможно, не спеша раскачивало нас на своих плечах. Высоко подбрасывало вверх, и на миг мы повисали в пустоте. Корабль сотрясался, словно разваливаясь на части. Исчезала реальность, и люди замолкали, переставали молиться, кормить детей, чеканить тусклое серебро. Оглушительный, похожий на раскат грома, треск раздирал деревянную обшивку. Корабль наливался тяжестью и, падая, был готов раздавить сам себя. Его падение выжимало из людей вроту.

Что же, они так и будут жаться друг к другу в этом скрипучем хлеве при тошнотворном мигании керосиновых ламп?

И я, опасаясь, как бы они не отчаялись, сказал:

– Пусть чеканщики вычеканят мне серебряный кувшин. Повара пусть приготовят еду повкуснее. Здоровые позаботятся о больных. А молящиеся за всех помолются...

И когда я увидел у борта побледневшего как смерть человека, который вслушивался сквозь рев валов в священную песню моря, я сказал ему:

– Спустись в трюм и пересчитай павших овец. Случается, что, перепугавшись, они затаптывают друг друга.

Он ответил:

– Бог сызнава лепит море. Я слышу треск мидель-шпангоутов. У них не должно быть голоса, они для нас основа основ, наш костяк и опора. Не должно быть голоса и у опор в глубинах земли, которой мы доверили свои дома, аллеи олив, кротких тонкорунных овец, медленно жующих в хлеву Господнюю траву. Отрадно растить оливы, растить овец, заниматься едой и любовью у себя в доме. Страшно, когда опасными для тебя становятся собственные стены. Когда завершенное вновь пускают в работу. Вот и сейчас молчаливое обретает голос. Что с нами будет, если забормочут горы? Я слышал их бормотанье, и мне его не забыть.

– Какое бормотанье? – спросил я.

– Господин мой, раньше я жил в деревне, раскинувшейся на покойной спине холма, крепко стоящей на своей земле под своим небом, собиравшейся долго жить и прожившей долго. Шероховатые каменные колодцы, пороги домов, ложе родника благодаря вековому служению обрели благословенную гладкость. Но однажды ночью что-то очнулось в земных глубинах. Мы поняли, что земля ожила у нас под ногами и захотела стать другой. Завершенное вновь поступало в работу. И мы испугались. Не за себя – за плоды многолетних усилий. За то, на что положили жизнь. Я – чеканщик, и жалел чудесный кувшин, над которым трудился два года. Два года бдений стали прекрасным кувшином. Сосед боялся за пушистые ковры, которые ткал с такой радостью. Каждый день он просушивал их на солнце, гордясь, что его заскорузлые руки превратились в эту серебристую зыбь, кажущуюся бездонной. Другой сосед боялся за посаженную им оливковую рощу.

Поверь, никто из нас не боялся умереть, но все мы боялись, что погибнут сделанные нами вещи, казалось бы, ничего не значащие и ничтожные. Вот тогда мы поняли: смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но сруби плодоносящее дерево, и садовник будет убит.

В нашей деревне жил один старик, он знал самые древние легенды пустыни, и в его устах они становились еще прекраснее. Больше никто не знал таких сказок и легенд, а сыновей у него не было. С того мига, как зашевелилась земля, он боялся за свои бедные сказки, которых никто уже не расскажет больше. А земля продолжала жить и искать себе новую форму.

Мало-помалу она превратилась в оползающую рыжую хлябь. Скажи, на что можно тратить себя, если все вокруг уничтожается неподвластной тебе стихией? Что можно построить, если все пришло в движение?

Перекосились дома, балки лопались, словно их начинили порохом. Стены дрожали и рассыпались в прах. Мы выжили, но стали ненужными даже самим себе. Кроме сказочника, – он пел и рассказывал что-то, потому что утратил рассудок.

Зачем ты посадил нас на корабль? Корабль пойдет ко дну, и с ним вместе все, над чем мы трудились. Я чувствую, как обтекает нас бесплодное время. Я чувствую, как оно утекает. Время не должно течь так ощутимо. Оно должно обрести форму, созреть и состариться. Оно должно стать вещью, постройкой. Но какой формы ему ждать теперь, если мы ничего не можем, если от нас ничего не останется?

VI

Я смотрел на свой народ и думал: никто теперь не тратит свою жизнь на дело своих рук, нет наследия, которое неизменным передавало бы одно поколение другому, время теперь течет бесплодно, словно песок. Я думал: выстроенный нами дом слишком тесен, а дело, которому человек служит, слишком недолговечно.

И я вспомнил фараонов, принуждавших свой народ воздвигать гигантские усыпальницы. Незыблемые и угловатые, плыли пирамиды по океану времени, тихонько истираясь в пыль. Вспомнил девственные пески, караван вступил на них и увидел вдруг древний храм – полузатонувший корабль, потерявший снасти в голубой невидимой буре, еще плывущий, но уже обреченный.

И вот о чем я подумал: не так уж и долговечен храм, нагруженный драгоценной утварью и позолотой, стоивший многих дней человеческой жизни, – храм, собравший мед множества поколений: золотую филигрань, священную позолоту, на которую медленно тратили себя и старели ремесленники, расшитые пелены, – день за днем отдавали им зоркость глаз юные женщины, превращаясь в старух, пока, скрюченные, кашляющие, колеблемые дуновением смерти, не оставляли после себя этот царственный шлейф, вечно цветущий луг. Тот, кто видит его сейчас, шепчет: «Как прекрасна эта вышивка! Как же она прекрасна...» А я знаю, что, вышивая, женщины день за днем преображали в вышивку самих себя. И не догадывались, что так совершенны.

Нужен ларец, чтобы хранить их наследство. Нужна повозка, чтобы везти его с собой. Я чту то, что долговременней человека. Я хочу сберечь смысл потраченной жизни. Хочу выковать дарохранительницу, которой люди могли бы доверить все, что в них есть.

И опять я смотрю на полузатонувшие корабли, медлящие в волнах пустыни. Все-таки они плывут. И я понял: прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм – они долговечнее человека. Люди с радостью будут тратить себя на то, что драгоценнее их самих. Только тогда появятся художники, скульпторы, граверы, чеканщики. Но чего ждать от человека, если трудится он для насущного хлеба, а не ради собственной вечности? Я напрасно потратил бы время, обучая таких работников законам архитектуры. Дом – подспорье их жизни, и бессмысленно тратить на него эту жизнь. Дом – средство и ничего больше. «Необходимость» – говорят они о доме и озабочены не домом, а его удобством. А в доме заняты накопительством. Копят и умирают нищими, не оставив после себя ни расшитых пелен, ни золоченой утвари, сложенной в трюме каменного корабля. Их понуждали тратить себя, а они постарались, чтобы тратились на них. Ушли и оставили после себя пустоту.

С такими мыслями бродил я среди людей моего народа тихим вечером, который всех отпустил на свободу, и смотрел, как они сидят на пороге жалких лачуг в измятой ветхой одежде, отдыхая после пчелиного усердия дня. Но думал я не о них – о душистом меде, который они все вместе собрали сегодня. Я остановился и посмотрел на одного из них – слепого старика калеку. При малейшем движении он кряхтел, словно старое кресло, на вопросы отвечал не сразу, потому что прожитые годы затуманили для него смысл слов. Но тем осмысленней, тем проникновенней веяло от него работой, на которую он положил жизнь, веяло от узловатых рук, от дрожащих пальцев, – уже не вещественной, но ставшей благоуханным ароматом. Благодаря ей он чудесно отъединялся от своей коснеющей плоти, становясь все счастливее, все неуязвимей. Нетленнее. И, приближаясь к смерти, чувствовал не ее леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звезд у себя в руках.

Всю свою жизнь они трудились ради бесполезной роскоши, тратя себя на нетленность вышивки... малая их часть истратилась на полезное, а все остальное – на оттачивание рисунка,

совершенствование формы, чеканку, ненужную серебру. На то, что ничему не служит, а только собирает отданную ему жизнь и живет дольше человеческой плоти.

Медленными шагами шел я вечером среди людей моего народа, укрывая их своей молчаливой любовью. Я тревожился лишь за тех, кого сжедал бесплодный огонь, а значит, и тоска: за поэта, влюбленного в поэзию и не написавшего ни строки, за женщину, влюбленную в любовь и не умеющую выбрать, она лишена возможности стать собой. И понял: они излечатся, если я подарю им то, что вынудит их выбирать, жертвовать собой и забывать обо всей Вселенной.

Любимый цветок – это прежде всего отказ от всех остальных цветов. Иначе он не покажется самым прекрасным. То же самое и с делом, на которое тратишь жизнь. Когда безрассудный упрекает старуху за вышивание, понуждая ее ткать, – он потворствует небытию, а не созиданию.

Я иду по своему раскинутому в пустыне лагерю. Потихоньку, незаметно и не спеша все обретает в нем форму и вызревает, и я чувствую вместе с запахом дыма и пищи аромат молитвы. Временем питаются плод, вышивка и цветок для того, чтобы родиться и быть.

Подолгу бродил я по лагерю и понял: не добротная пища облагораживает царство – добротные потребности жителей и усердие их в трудах. Не получая, а отдавая, обретаешь благородство. Благородны ремесленники, о которых я говорил, они не пожалели себя, трудясь денно и ночью, и получили взамен вечность, избавившись от страха смерти. Благородны воины: пролив кровь, они стали опорой царства и уже не умрут. Но не облагородишься, покупая себе самые прекрасные вещи у лавочников и любясь всю жизнь только безупречным. Облагораживает творчество.

Я видел вырождающиеся народы: они не пишут стихов, они их читают, пока рабы обрабатывают для них землю. Скудные пески Юга из года в год взращивают племена, жаждущие жить, – наступает день, и эти племена завладевают мертвыми сокровищами мертвого народа. Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом. Жизнь не принесет ему зрелости. Время для него – струйка песка, стирающая его плоть в прах. Что я верну Господу после его смерти?

Горе, когда разбивается сосуд, не успевший наполниться. Смерть старика похожа на чудо, он истратил жизнь и себя на труды, он ушел в землю, а на земле благоухают плоды его труда – в земле лежит сработавшееся орудие. Но я видел, как умирают дети моего народа, – они умирали молча, задыхаясь, они прикрывали глаза, удерживая пушистыми ресницами меркнувший в зрачках свет.

«У Ибрагима умирает ребенок», – услышал я. Медленно проскользнул я, никем не замеченный, в дом Ибрагима, зная, что безмолвие любви понятно, и через завесу слов никто не обернулся, все вслушивались в шаги смерти.

Если в доме говорили, то шепотом, если ходили, то бесшумно, словно здесь поселился кто-то очень пугливый, готовый исчезнуть при тишайшем звуке. Не касались дверей, не открывали и не закрывали их, словно в доме трепетал слабый огонек на текучей поверхности масла. Я посмотрел на ребенка и понял, что он мчится где-то далеко-далеко, понял по учащенному дыханию и сжатым кулачкам, вцепившимся в горячку, уносящую его от нас галопом, по упрямо закрытым глазам, не желающим ни на что смотреть. Все вокруг старались залучить его обратно и приручить, как приручают дикого лесного зверька. Ему подставили чашку с молоком и, затаив дыхание, ждали: вдруг вкусный запах остановит его, ему захочется молока и он напьется. Тогда можно будет заговорить с ним, как заговаривают с ланью, лизнувшей ладонь.

Но он был по-прежнему невозмутим и серьезен. И если хотел чего-то, то вовсе не молока. Тогда старые женщины тихо-тихо, будто приманивая голубку, запели его любимую песню о девяти звездах, купавшихся в роднике, но он уже так далеко ушел, что не услышал. Ушел и даже не обернулся. Смерть принудила его к вероломству. И его умоляли о прощанье, беглом дружеском взгляде, который бросает путник, не замедляя шага... о каком-нибудь знаке при-

знательности. Его поворачивали с боку на бок, вытирали потное личико, уговаривали попить воды, пытаясь во что бы то ни стало разбудить от смерти.

Я собрался уходить, а они раскидывали все новые и новые ловушки, чтобы заманить малыша в жизнь. Но как легко малыш обходил все силки! Ему протягивали игрушку, чтобы зачаровать его счастьем, но, когда она оказывалась слишком близко, маленькая ручка отстраняла ее, как отстраняют ветку, если она мешает скачке.

Я побыл с ним. Мне пора было уходить. Этот дом лишь одна из минут, одна из свечей, одна из крупниц жизни моего города. Ребенка окликнули, и он нечаянно улыбнулся, отозвался на оклик. И опять отвернулся к стене. Присутствие малыша стало невесомым присутствием птицы... Я оставил их творить тишину, которая, может быть, поможет приручить ребенка, который уходит в смерть.

Я шел вдоль узкой улочки. Я слышал, как за дверьми бранят служанок. Дома приводили в порядок, собирая необходимое, чтобы безопасно переплыть ночь. Мне не было дела, справедливо или нет бранят их. Я слушал голос усердия. А чуть дальше, у колодца, уткнувшись лицом в ладошки, плакала маленькая девочка. Я ласково погладил мягкие волосы и повернул ее к себе личиком, но не спросил, какое у нее горе, понимая, что этого она еще не знает. Горюют всегда об одном – о времени, которое ушло, ничего по себе не оставив, о даром ушедших днях. Когда плачут о потерянном браслете, плачут о времени, заблудившемся неведомо где; когда оплакивают умершего брата, плачут о времени, которое больше ничему не послужит. Девочка, повзрослев, будет горевать об ушедшем возлюбленном, не понимая, что оплакивает утерянную дорогу к жизни, к чайнику, к запертому дому, к ребенку, лежащему у груди. Не понимая, что плачет о времени, которое будет течь сквозь нее бесплодно, как песок в песочных часах.

Вот на порог дома вышла, улыбаясь, женщина. Я посмотрел на нее, и она в ответ улыбнулась еще счастливее, радуясь, верно, тому, что наконец укачала ребенка, сварила вкусный суп, или просто вернулась домой, или своей свободной минутке. Я прохожу мимо знакомого сапожника-калеки. Он старательно расшивает золотом бархатные туфельки, и, хотя у него давным-давно нет голоса, я понимаю, что он поет.

– Чему ты так рад, сапожник?

Но не вслушиваюсь в ответ, зная, что он ошибется, сказав о полученных деньгах, скором ужине или отдыхе. Он не знает, что он счастлив, истратив себя самого на раззолоченные туфельки.

VII

И вот что я еще понял: ошибается обыватель, веря в незыблемость покоя, защищенного стенами дома, – любой из домов в опасности. Храм, построенный на вершине горы, обдувает северный ветер, унося песчинку за песчинкой, и вот он уже похож на изношенный форштевень и идет ко дну. Храм в пустыне осаждают пески и мало-помалу возьмут над ним верх. Рано или поздно ты увидишь пустынную гладь, сомкнувшуюся над остатками твоих построек. Все, что строишь, – в опасности. В опасности и мое царство. Я построил его своей любовью из домов, овец, гор и коз, но если не будет меня, его средоточия и творца, царство исчезнет и останутся опять только горы, дома, козы и овцы.

Дробность вместо целостности, материал, ждущий нового ваятеля. И придут племена из пустыни и построят другое царство. Любя всем сердцем другую картину, они придут и по-новому расположат древние буквы в книге.

Ведь и я поступил точно так же. Я не устану славить вас, горделивые ночи моих военных походов. Раскинув на бесплодных песках треугольный лагерь, я поднимался на холм, ждал темноты и смотрел на темный треугольник внизу, – треугольник чуть больше деревенской площади, где я разместил своих воинов, верблюдов и оружие, – смотрел и думал о его уязвимости.

В самом деле, как жалка эта горстка полуголых людей под голубыми шатрами: им грозит ночной холод, уже заморозивший звезды, грозит жажда, ибо воды в бурдюках должно хватить на девятидневный путь до колодца, грозят песчаные бури, неистовством похожие на бунт, грозят сабельные удары, от которых плоть, как перезрелый гранат, истекает алым соком. И человек уже ни на что не годен. Как жалки эти голубые полотняные шатры, которые не стали прочнее от спрятанной в них стали, которые стоят без защиты на запретной для них земле!

Но что мне до уязвимости? Я связал их всех в один узел и спас от рассеяния и гибели. Построив свой треугольник в ожидании ночи, я уже отъединил их от пустыни. Мой лагерь сжат, как кулак. Я видел: так защищался кедр среди бесплодных скал, спасая от гибели зеленеющие ветви. Кедр не спит. День и ночь он ведет борьбу, оборачивая себе на пользу в глубинах ствола те самые частички враждебного мира, которые могут послужить и его гибели. Кедр растит себя каждую секунду. И каждую секунду я укрепляю свой дом, забываясь о его долговечности.

Из дробности, которую развеяло бы одно дуновение, я сложил треугольник, прочностью равный башне и неизменностью форштевню. Опасаясь, как бы мой лагерь не погрузился в сон и не растворился в забвении, я поставил по его углам дозорных, чтобы они вслушивались в шорохи пустыни. Словно кедр, уплотняющий свою древесину благодаря скале, мой лагерь укрепляется благодаря грозящим ему со всех сторон опасностям.

Благословенны ночные молчаливые вестники, их шагов никто не слышит, они внезапно появляются из темноты и, присев у костра, рассказывают, кто идет к Северу, а кто к Югу, ища своих украденных верблюдов, о ропоте, поднявшемся из-за убийства, и о замыслах тех, кто молчит в своем шатре, обдумывая, какой из ночей напасть. Как внимательно ты слушал этих вестников, говорящих о молчании молчаливых! Благословенны и те и другие, – они неожиданно возникали у нашего костра и приносили такую страшную весть, что мои воины, не медля, засыпали песком огонь и бросались плащом с ружьем на землю, венчая лагерь короной порохового дыма.

Ибо тьма, едва она только сгустится, чревата необычайным.

Каждый вечер смотрел я на свой лагерь, окруженный, словно корабль, бескрайним простором, и знал, что заря вернет мне его неувредимым и все в нем, как бойцовые петухи, будут радостно приветствовать рассвет. Воины мои выучили верблюдов, голоса их в прохладе утра звучали как трубы. Взбодренные хмельной свежестью новорожденного дня, они дышали полной грудью, радуясь необъятным просторам.

Я вел своих воинов на завоевание оазиса. Не знающий людей убежден, что благоговение перед оазисом возвращено в оазисе. Нет, живущие в нем не задумываются, где живут. Благоговееет перед оазисом иссушенное песками сердце бродяги. И я учил своих воинов любить оазисы.

Я говорил: «Вы увидите там душистую траву, журчащие родники, женщин в цветных покрывалах. Они кинутся бежать от вас толпой испуганных ланей, но сладостной будет ваша охота, ибо создали их, чтобы пленять».

Я говорил: «Им покажется, будто они ненавидят вас, и, защищаясь, они будут царапаться и кусаться. Но чтобы покорить их, достаточно погрузить мощную пятерню в их иссиня-черные волосы».

Я говорил: «Чтобы остановить их, ваша сила должна стать силой нежности. Они закроют глаза, не желая видеть вас, но ваше молчаливое терпенье нависнет над ними, как тень орла. И когда они поднимут на вас глаза, их слезы будут слезами о вас. Вы станете для них неизмеримостью, и они не смогут вас позабыть».

И еще я сказал, желая возбудить в них нетерпеливое желание завладеть этим раем: «Вы узнаете там, что такое пальмовые рощи и пестрые птицы... Оазис покорится вам, ибо вы боготворите его, а те, кого вы изгоните, стали его недостойны. Их женщины, стирая белье в ручейке, журчащем по круглым белым камням, исполняют тяжкую нерадостную повинность, забыв, что смеющийся ручей – всегда праздник. Вас выдубили пески, иссушило солнце, просолили жгучие солончаки, и, когда вы возьмете в жены этих женщин и, подбочившись, будете смотреть, как они стирают в голубой воде ручья, вы узнаете сладость победы.

В бесплодных песках вы научились жить, как кедр, утверждаясь благодаря врагам, которые окружили вас со всех сторон. Завоевав оазис, вы останетесь в живых, если не превратите его в нору, куда забиваются и обо всем забывают. Помните: оазис – это каждодневная победа над пустыней.

Вы одержите победу, потому что жители оазиса закоснели в себялюбии и довольстве накопленным. Пески, осаждающие оазис, кажутся им красивой золотой короной. Они издеваются над докучающими им своим беспокойством. Они не хотят сменить дозорных, задремавших у границы благословенной земли, рождающей родники.

Их сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Не бывает счастливых без рабочего пота и творческих мук. Отказавшись тратить себя и получая пищу из чужих рук, изысканную пищу и утонченную, читая чужие стихи и не желая писать свои, они изнашивают оазис, не продлевая ему жизнь, изнашивают песнопения, которые им достались. Они сами привязали себя к кормушке в хлеву и сделали домашней скотиной. Они приготовили себя к рабству».

И вот еще что я сказал: «Вы завоюете оазис, но суть вещей останется прежней. Оазис – тот же лагерь в пустыне, но только в ином обличье. Со всех сторон опасности грозят моему царству. Оно построено из домов, гор, овец и коз; стоит развязать узелок, связавший их воедино, как не останется ничего, кроме груды строительных материалов – подарка грабителям».

VIII

Мне показалось, что люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам. Я озабочен правами Господа в человеке и любого нищего, если он не преувеличивает собственной значимости, чту как Его посланца.

Но я не признаю прав самого нищего, прав его гнойников и количества, чтимых как божество.

Я не видел ничего грязнее городской окраины на склоне холма, она сползала к морю, как нечистоты. Из дверей на узкие улочки влажными клубами выползало смрадное дыхание домов. Человеческое отребье вылезало из вонючих нор и без гнева и обиды, грязно, сипло перекорялось, как будто хлюпала и лопалась пузырями болотная жижа.

Я вгляделся в хохочущих до слез, вытиравших глаза грязными лохмотьями прокаженных, – они были низки и ничего больше. Они были довольны собственной низостью.

«Сжечь!» – решил мой отец. И весь сброд, вцепившись в затхлые свои трущобы, завопил о своих правах. Правах гнойной язвы.

– Иначе и быть не может, – сказал мне отец. – Они понимают справедливость как нескончаемость сегодняшнего.

А сброд вопил, защищая свое право гнить. Созданный гниением, он за него боролся.

– Расплоди тараканов, – сказал отец, – и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель.

Быть справедливым... – продолжал отец, – но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе: Божественная или человеческая? Язвы или здоровой кожи? И почему я должен прислушиваться к голосам, защищающим гниль?

Ради Господа я возьмусь лечить прогнившего. Ибо и в нем живет Господь. Но слушать его я не буду, он говорит голосом своей болезни.

Когда я очищу, отмою и обучу его, он захочет совсем другого и сам отвернется от того, каким был. Зачем же пособничать тому, от чего человек потом откажется сам? Зачем, послушавшись низости и болезни, мешать здоровью и благородству?

Зачем защищать то, что есть, и бороться против того, что будет? Защищать гниение, а не цветение?

– Каждый для меня хранитель сокровища, я чту сокровище в каждом, и в этом моя справедливость, – говорил отец. – Чту я и самого себя. В нищем теплится тот же свет, но его едва видно. Справедливо видеть в каждом путь и повозку. Мое милосердие в том, чтобы каждый сбился.

Но ползущая к морю грязь? Мне горько смотреть на гниющие отбросы. Как исказился в них облик Господа! Я жду, что они однажды поступят по-человечески, но жду напрасно.

– Я видел среди них и тех, кто делился хлебом с голодным, нес мешок увечному, жалел больного ребенка, – возразил я отцу.

– У них все общее, – ответил отец, – они свалили все в общую кучу, так им видится милосердие. Так они его понимают. Они научились делиться и хотят заменить милосердие дележкой добычи, какой заняты и шакалы. Но милосердие – высокое чувство. А они хотят убедить нас, что дележка и есть благотворение. Нет. Главное знать, кому творишь благо. Здесь низость домогается низостей. Пьяница домогается водки, ему хочется одного – пить. Конечно, можно потворствовать и болезни. Но если я озабочен здоровьем, мне приходится отсекал болезнь... и она меня ненавидит.

Своим милосердием они помогают гниению, – добавил отец. – А что делать, если мне по душе здоровье?

Если тебе спасут жизнь, – продолжал отец, – не благодари. Не преувеличивай собственной благодарности. Если твой спаситель ждет ее от тебя, он – низок. Неужели он полагает, что оказал услугу тебе? Нет, Господу, если ты хоть чего-то стоишь. А если ты изнемогаешь от благодарности, значит, у тебя нет гордости и нет скромности. В спасении твоей жизни значимо не твое маленькое везенье, а дело, которому ты служишь и которое зависит и от тебя тоже. Ты и твой спаситель трудились над одним, так за что же тебе благодарить его? Его вознаградила собственный труд: он сумел спасти тебя. Это я и называю сотрудничеством в общем деле.

У тебя нет гордости, если ты идешь на поводу низменных чувств твоего спасителя. Потакая его мелочному самолюбию, ты продаешься ему в рабство. Будь он благороден, он не нуждался бы в твоей благодарности.

Меня заботит одно: общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Мне в помощь и ты, и камень. Кто благодарен камню, положенному в основу храма?

Обитатели трущоб работают только на себя. Отбросы, сползающие к морю, не тратят себя на песнопения, на статуи из мрамора, на самодисциплину во имя грядущих завоеваний. Единственное их занятие – поиск наивыгоднейших условий для дележа. Смотри не споткнись тут. Пища необходима, но она куда опаснее голода.

Они поделили все. Даже жизнь они поделили на две части, и обе эти части лишены всякого смысла: сперва они достигают, потом хотят наслаждаться достигнутым. Все видели, как растет дерево. Но когда оно выросло, видел ли кто-нибудь, чтобы оно наслаждалось своими плодами? Дерево растет и растет. Запомни: завоеватель, превратившийся в обывателя, погиб...

В сотрудничестве – милосердие моего царства.

Я приказываю хирургу изнурять себя долгим путем по пустыне ради того, чтобы поправить сломанный инструмент. Пусть инструментом будет рука простого работяги, который рубит камень в каменоломне. А хирург мой будет искуснейшим врачом. Нет, я не возвеличиваю посредственность, я хочу, чтобы починили повозку. А вожатый и у одного, и у другого – один.

Я забочусь о том, о чем заботятся ухаживающие за беременной. Ради будущего ребенка они занимаются ее тошнотой и недомоганиями. А благодарности она заслуживает только потому, что родит. Но вот женщины начинают требовать внимания и ухода, потому что их тошнит и они недомогают. Я отворачиваюсь, ибо сама по себе рвота отвратительна. Женщина – сосуд, сосуд не благодарят. И сама она, и ее помощники служат рождению, так о какой благодарности может идти речь?

* * *

К моему отцу пришел генерал:

– Смешно смотреть на тебя! Ты возвеличиваешь царство и служишь ему. Но я тебе помогу, я заставлю всех чтить прежде всего тебя, а во имя тебя и твое царство!

Я видел и доброту моего отца. Он говорил:

– Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести. Нельзя отбирать у царя царство и превращать в нищего подававшего милостыню. Если ты так поступишь, ты разрушишь остов своего корабля. Я всегда ищу наказания, соразмерного виновнику. Князю, если он оступился, я отрубая голову, но не превращаю его в раба.

Однажды я повстречал принцессу, которую сделали прачкой. Ее товарки издевались над ней: «Куда подевалось твое величие, постирушка? Раньше ты могла казнить и наказывать, а теперь мы можем грязнить тебя в свое удовольствие. Вот она, справедливость!» Ибо справедливостью они считали возмездие.

Принцесса-прачка молчала в ответ. Она чувствовала свое унижение, но еще больше унижение того, что куда значительнее ее. Бледная и прямая, склонялась принцесса над корытом. Сама она вряд ли вызвала бы озлобление: она была миловидна, скромна, молчалива. И я понял: издеваются не над ней – над ее падением. Если вызывающий зависть сравнивается с нами, мы его с наслаждением разорвем. Я подозвал к себе принцессу.

– Я знаю, что ты царствовала. С сегодняшнего дня жизнь и смерть твоих товарок в твоей власти. Я возвращаю тебе трон. Царствуй.

Возвысившись над низким сбродом, она презрела воспоминания о перенесенных обидах. И прачки больше не злобились, потому что порядок был восстановлен. Теперь они восхищались благородством принцессы. Они устроили празднество в честь ее воцарения и кланялись, когда она проходила. Они чувствовали, что возвысились, если могли коснуться ее платья.

Вот почему я не отдаю принцев на посмешище черни и издевательство тюремщиков. Нет, под трубные звуки золоченых рогов им на круглой площади по моему приказу отрубают голову.

– Унижает тот, кто низок сам, – говорил мне отец. – И никогда не позволяй слугам судить хозяина.

IX

Отец говорил мне так:

– Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если ты хочешь, чтобы они возненавидели друг друга, брось им маковое зерно.

И еще говорил мне отец:

– Плоды их трудов – вот моя забота. Жатва их ручейками должна стекаться ко мне в житницу. Житница для них – я. И пусть они служат моей славе, обмолачивая зерно в ореоле золотой пыли. Только так попечение о хлебе насущном можно сделать духовным песнопением. И тогда не жаль тех, кто сгибается под тяжестью мешка по дороге на мельницу. Или идет с мельницы, поседев от мучной пыли. Тяжелый мешок с зерном возвышает душу точно так же, как молитва. Посмотри, как они счастливы, стоя со снопом в руках, похожим на свечу, мерцающую золотом колосьев. Облагораживает взыскательность, а не сытость. Что же до зерна, то, конечно же, они получают его и съедят. Но пища для человека не самое насущное. Душа жива не тем, что получено от зерна, – тем, что было ему отдано.

И я повторяю вновь и вновь: племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны презрения. Я называю их стоячим болотом. И не вижу над ними золотящегося ореола пылинок, поднимающихся при молотье.

Разумеется, отдавая, я и получаю тоже. Иначе что я буду отдавать? Благословен нескончаемый обмен отданного и полученного, благодаря ему можно отдавать все больше и больше. Полученное укрепляет тело, душу питает отданное.

Я смотрел на танцовщиц, которые танцуют. Танец придуман, станцован. Кто может воспользоваться им, унести и превратить в припас на будущее? Он миновал, как пожар. Но я назову благородным народ, танцующий свои танцы, хоть нет для них ни закровов, ни житниц. А тех, кто расставляет по полкам прекраснейшие творения чужих рук, несмотря на умение восхищаться, я назову варварами.

Мой отец говорил:

– Человек – это тот, кто творит. Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесет покоя сделанный им запас.

Моему отцу возразили:

– Ты говоришь о творчестве, что ты имеешь в виду? Немногие способны создать что-то выдающееся. Ты, стало быть, обращаешься к немногим. А остальные? Что делать им?

Отец ответил:

– Творить – значит оступиться в танце. Неудачно ударить резцом по камню. Дело не в движении. Усилие показалось тебе бесплодным? Слепец, отойди на несколько шагов. Посмотри издали на суетливый город. Что ты видишь, кроме усердия и золотистого ореола пыли над занятыми работой? Как тут различить, кто ошибся? Народ занят, и мало-помалу возникают дворцы, водоемы и висячие сады. Волшебство искусных рук сотворило шедевры, не так ли? Но поверь мне, удачи и неудачи равно сотворили их, потому как, подумай, можно ли расчленив человека? И если спасать только великих ваятелей, можно остаться без ваятелей вообще. Кому достанет безумства избрать себе ремесло, сулящее так мало шансов выжить? Великие ваятели поднимаются на черноземе плохих. Они для них вместо лестницы. Ступенька за ступенькой стремится лестница вверх. Прекрасный танец рождается из желания танцевать. Когда хочется, танцуют все, даже те, кто танцует плохо. А что остается, если пропадает желание? Мертвая выучка, бессмысленное зрелище. Историк видит ошибки, он рассматривает прошедшее. Но кто станет упрекать кедр за то, что он еще семечко, росток или растет не так, как надо? Его

дело расти. Ошибка за ошибкой, и поднимется кедровый лес, благоухающий в ветреный день птицами.

Я тебе уже говорил, – добавил отец, – неудача одного, успех другого, – не утруждай себя, не дели. Плодотворно лишь сотрудничество всех благодаря каждому. Любой неудачный шаг помогает удачному, а удача ведет к цели и того, кто промахнулся, они идут к ней рука об руку. Нашедший Бога находит Его для всех. Царство мое подобно храму, я бужу и побуждаю людей. Я созываю их возводить его стены. И вот уже это их храм. Воздвигнутый храм возвышает людей в собственных глазах. И они придумывают позолоту. Все вместе, и тот, кто искал и не нашел, тоже. Потому что замысел позолоты рожден всеобщим усердием.

В другой раз отец сказал мне:

– Не желай государства, где царило бы совершенство. Безупречный вкус – добродетель хранителя в музее. Неоткуда ждать картин, садов, замков и танцев, если презирать дурной вкус. Боязнь черной работы и грязной земли рождает снобов. Праздное совершенство оставит тебя ни с чем. Заботься о государстве, где все было бы проникнуто усердием.

Х

Словно от непосильной тяжести изнемогли мои воины. Их командиры пришли ко мне и спросили:

– Когда мы вернемся домой? Наши женщины лучше женщин завоеванного оазиса.

Один из них сказал мне:

– Господин мой, мне снится та, которой принадлежало мое время и с которой я ссорился. Я хотел бы вернуться к себе и сажать деревья. Я перестал видеть смысл вещей, мой господин. Позволь мне самому пуститься в рост в тишине моей деревни. Я чувствую, для меня настала пора подумать, что же такое моя жизнь.

И я понял: они нуждаются в тишине. В тишине каждый найдет свою истину и укоренится в ней. Но для этого необходимо время, как при вскармливании младенца. Материнская любовь поначалу и есть вскармливание. Кто видел, чтобы ребенок вырос в одну секунду? Никто. Удивляются гости и говорят: «Как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видят, что ребенок вырос. Его неспешно лепит время, и в каждый миг он таков, каким должен быть.

Теперь время понадобилось и моим воинам. Не для того ли, чтобы постигнуть суть дерева? Чтобы из вечера в вечер садиться на пороге и смотреть на одно и то же дерево, с теми же самыми ветвями? Чтобы мало-помалу дерево открылось им.

Как-то у костра в пустыне поэт рассказал нам о своем дереве. Мои воины внимательно слушали его, хотя многие из них не видели ничего, кроме верблюжьей колючки, саксаула, карликовых пальм.

– Вы даже не представляете себе, что такое дерево, – говорил он. – Однажды по прихоти случая дерево выросло в заброшенной лачуге без окон и отправилось на поиски света. Человеку нужен воздух, рыбе – вода, а дереву – свет. Корнями оно уходит в землю, а ветвями к звездам, оно – путь, соединяющий нас с небом. Дерево, о котором я рассказываю, родилось слепым, но и в темноте оно сумело набраться сил и поползло на ощупь от стены к стене, запечатлевая свою боль искривлениями ствола. Наконец оно добралось до окна в потолке, разбило его и потянулось к солнцу, прямое, как колонна. Я видел его победу со стороны и мог только засвидетельствовать ее с бесстрашием историка.

Какое великолепное несходство – искореженный усилиями узловатый ствол, запертый в темном гробу, и разросшаяся в тишине и спокойствии мощная крона, вскормленная небесным светом, обильно питаемая богами, похожая на обширный стол, за который садится пировать солнце.

Каждое утро я видел, как просыпалось это дерево – все, от ликующих листьев до искривленных корней. Крона его была переполнена птицами. С зарей они пробуждались и начинали петь. Но стоило показаться солнцу, как дерево, словно добрый пастырь, отпускало своих обитателей в небо, дерево-дом, дерево-замок, опустевший до вечерней зари...

Поэт говорил, а мы вдруг ощутили, как долго нужно смотреть на деревья, чтобы они проросли и в нас. И каждый позавидовал сердцу, отягощенному птицами и листвой.

– Когда же, – спрашивали меня воины, – кончится наконец война? Нам тоже есть о чем подумать. Мы тоже хотим найти себя...

Случалось, что мои воины ловили лисенка, и он соглашался брать пищу из рук, и его из рук кормили. Случалось, из рук кормили газель, которая снизошла до жизни в неволе. День ото дня моим воинам становилось дороже их сокровище: как радовала их солнечная шкурка, шалости и голод лисенка, настоятельно требующего от них усердия. Они жили тщетной иллюзией, веря, что зверек нуждается в них, что его создала, вскормила и питает их любовь.

Но приходил день, и лисенок, который любил только свою пустыню, убегал к ней, и пустыней становилось человеческое сердце. Я видел, как посланный в засаду воин погиб,

потому что ему не захотелось защищаться. Нам принесли весть о его гибели, и мне вспомнились загадочные слова, какими он ответил на утешения товарищей после бегства его лисенка, — ему советовали поймать другого, а он ответил: «Нужно слишком много терпения не для того, чтобы поймать, для того, чтобы любить его».

Они устали от лисят и газелей, когда поняли, что тратить на них бесполезно, потому что лисенок любит пустыню, но ни пустыня, ни лисенок не нуждаются в человеке.

— У меня три сына, — говорил мне один из них, — они растут, а я ничему не научил их. Ничего им не передал. Что останется от меня после смерти?

* * *

Укрывая всех моей молчаливой любовью, я смотрел, как моя армия истаивает среди песков, подобно потоку, рожденному грозой. У такого потока нет надежного русла, и он умирает бесплодным, не перевоплотившись дорогой в дерево, траву, хлеб для деревень.

Ради блага моего царства мои воины хотели стать оазисом, украсить мой замок новым отдаленным владением, чтобы с законной гордостью говорить:

— Сколько прелести придают нашему царству зеленеющие на юге пальмы, наши новые пальмовые рощи и деревня, где режут слоновую кость...

Да, мы завоевали оазис, но ни для кого он не сделался домом, и каждый теперь мечтал об одном: вернуться. Исчезло единое царство, оно разделилось, дробность мира затуманила его облик.

— Для чего нам нужен чужой оазис? Что он нам прибавит? Чем обогатит? — роптали они. — Для чего он нам в деревне, куда мы вернемся и где проживем до старости? Он для тех, кто поселится в нем, будет собирать инжир и стирать белье в торопливом ручье...

XI

Они не правы, но я ничего не могу поделать. Угасает вера, и умирает Бог. Он кажется никому не нужным. Истошилось рвение, распалось царство, потому что скрепляло его усердие. Нет, оно не было обманом. Дорога под оливами и дом, который любят от всего сердца и берегут, – вот мое царство, но если оливы точно такие же, как сотни других, а дом под ними защищает только от дождя, то где оно, мое царство, и как уберечь его от разрушения? И проданные оливы останутся оливами, а дом домом.

Посмотрите на князя, хозяина здешних мест, – одинокий шагает он по дороге, и плащ его влажен от утренней росы. Где богатства его? Что в них толку? Он вязнет в грязи после вчерашнего дождя, он отводит палкой колючие ветки, – как бродяга, любой бродяга, бродяга из бродяг. Спустился в ложбинку и потерял из виду все свои владения. Но, несмотря ни на что, он – князь.

Ты встретишь его, он на тебя посмотрит, и это будет взгляд князя. Он спокоен, он уверен в себе, опорой ему все, что сейчас ему не служит. Да, сейчас он не пользуется ничем, но ничего и не утратил. Его владения: пастбища, ячменные поля, пальмовые рощи – прочная опора. Поля отдыхают. Дремлют житницы. Молотильщики не вздымают цепями золотого ореола пылинок. Но все это живет в сердце князя. И не кто-нибудь, а хозяин шагает по своей люцерне...

Слеп тот, кто судит о человеке по его занятиям, плодам трудов или достижениям. Значимо для человека совсем не то, чем он располагает в эту секунду: на прогулке в руке у князя пучок колосьев или сорванное дорогой яблоко.

Воин, что ушел со мной воевать, полон своей любимой. Он не может увидеть ее, обнять, коснуться – ее как бы и не существует; в ранний, предрассветный час она и не помнит о нем, шагающем где-то вдалеке с тяжким грузом своих воспоминаний, потому что ушла далеко-далеко от мира живущих. Потому что ее как бы и нет на свете, потому что она крепко спит. Но для мужчины она живет и бодрствует, и он несет в себе, словно зерно в житнице, груз нежности, сейчас бесполезной, и которая тоже спит, несет ароматы, которые не вдыхает, журчанье родника – сердце своего дома, – он не слышит его, но несет с собой все свое царство, и оно отличает владельца от всех остальных людей.

Вот твой друг, ты повстречал его, а у него болен ребенок, и тяжесть его болезни он повсюду носит с собой. Малыш далеко. Отец не держит горячей ручки, не слышит плача, жизнь его течет привычной чередой. Но я вижу, как придавила его тяжелая забота о малыше, который живет в его сердце.

Они похожи: князь, который не может охватить взглядом своего царства, не пользуется своим богатством, но знает, что они есть, и всегда остается властелином; отец больного ребенка, который страдает за него, и мой воин, который служит своей любви, пока любимая блуждает по стране сновидений. Смысл, которым окрашено происходящее, – вот что значимо для человека.

Бывает и по-другому, я знаю. Кузнец из моей деревни пришел ко мне и сказал:

– Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо, и большего мне не нужно. Что мне до каких-то страданий?

Но хорошо ли в доме, одиноко стоящем посреди Вселенной? Если ты и твоя семья под полотняным шатром, затерявшимся в пустыне? Я заставил поправиться кузнеца.

– Хорошо, если по вечерам приходят друзья из шатра по соседству, если есть о чем потолковать и есть новости о пустыне...

Я же видел вас, не забывайте об этом! Видел, как вы сидели ночью вокруг костра, как жарили барашка, слушал всплески ваших голосов. Не спеша, с молчаливой любовью подходил я к вам. Да, конечно, вы говорили о детях: один растет, а другой болеет; говорили, конечно, и о доме, но без особого воодушевления. Зато как вы оживлялись, когда к вашему костру подсаживался странник, пришедший с караваном из дальних мест, и рассказывал о тамошних чудесах: о княжеских белых слонах, о замужестве девушки, чье имя едва вам знакомо, о переполохе в стане врагов. Он мог рассказывать о комете или обиде, о любви или мужестве в смертный час, о ненависти к вам или, напротив, участии. Множество событий соприкасалось с вами, пространство расширяло вас, и ваш собственный шатер, любимый и ненавистный, уязвимый и надежный, становился вам во сто крат дороже. Вас ловила волшебная сеть, и вы становились куда пространственней, чем были сами по себе...

Вам необходим простор, а высвобождает его в вас только слово.

Я вспомнил случай с беженцами-берберами. Мой отец поселил их отдельно, в небольшом селенье на севере от города. Он не хотел, чтобы они смешались с нами. Он был к ним добр: давал чай, сахар и полотно на одежду. Он не требовал от них никакой работы в уплату за свою щедрость. Кому еще жилось беззаботнее, и каждый из них мог сказать:

– Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо, и большего мне не нужно...

Но кому они показались бы счастливыми? Мы изредка навещали их, когда отец меня учил.

– Смотри, – говорил он, – они сделались домашним скотом и потихоньку гниют... не плотью, а сердцем...

Ибо мир для них обессмыслился.

Даже если ты не поставил на кон состояния, игра в кости для тебя мечта об отарах, земле, золотых слитках и бриллиантах. У тебя их нет. Но они есть у других. Однако приходит день, и ты перестаешь мечтать при помощи игры в кости. И бросаешь игру.

А наши подопечные бросили разговаривать, им стало не о чем говорить. Истерлись похожие друг на друга семейные истории. О своих шатрах, похожих, как две капли воды, они все рассказали друг другу. Они ничего не боялись, ни на что не надеялись, ничего не придумывали. Слова служили им для самых обыденных дел. «Одолжи мне таганок», – просил один. «Где мой сын?» – спрашивал другой. Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради чего стараться? Ради хлеба? Их кормят. Ради свободы? Но в пределах своей крошечной вселенной они свободны до беспредельности. Они захлебывались от своей безграничной свободы, и у богатых от нее пучило животы. Ради того, чтобы восторжествовать над врагами? Но у них не было врагов.

Отец говорил:

– Ты можешь прийти к ним один, пройти по всему селенью, хлеща их бичом по лицу. Они оскалятся, как свора собак, попятятся, огрызаясь и желая укусить, но ни один не пожертвует собой. Ты останешься безнаказанным, скрестишь руки на груди и почувствуешь оскомину от презрения...

Он говорил:

– На вид они люди. Но под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они могут убить тебя по-подлому, в спину, – воры тоже бывают опасны, – взгляда в глаза они не выдержат.

А берберы тем временем занемогли враждой. Не той, что делит людей на два лагеря, – бестолковой враждой каждого ко всем остальным: ведь каждый, кто съел свой припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен от большинства.

– Толпа, – говорил отец, – ненавидит человека, потому что всегда бестолкова и расползается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, если человек подавил

толпу. Но это еще не безысходность рабства. Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожать человека.

И вот во имя сомнительной справедливости кинжалы вспарывали животы, начиная ночь трупами. А на заре эти трупы сваливали, словно мусор, на пустыре, откуда забирали их наши могильщики. Работы у них не убавлялось. И мне вспомнились отцовские слова: «Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если хочешь увидеть их ненависть, брось им маковое зерно».

Мы заметили, что берберы, пользуясь словами все реже и реже, отвыкают от них. Когда мы с отцом шли мимо, берберы сидели с пустыми тупыми лицами, смотрели и не узнавали. Иногда мы слышали глухое ворчанье и догадывались, что приближается час кормежки. Берберы бытовали, позабыв, что значит горевать и хотеть, любить и ненавидеть. Они не мылись, не уничтожали паразитов. Пошли болезни, язвы. От поселения стал исходить смрад. Мой отец опасался чумы. И вот что он сказал:

– Я должен разбудить ангела, что задыхается под этим гноищем. Не их почитаю я, но Господа, который и в них тоже...

XII

– Вот одна из великих загадок человеческой души, – сказал отец. – Утратив главное, человек даже не подозревает об утрате. Разве знают об утрате жители оазиса, стерегущие свои припасы? Откуда им знать о ней, раз припасы при них?

На прежних местах дома, овцы, козы, горы, но они уже не царство. Не ощущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что все вокруг обесмыслилось. На взгляд, все осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, становится дешевой стекляшкой. Твой ребенок, он больше не подарок царству, не драгоценность. Но ты пока не знаешь об этом, ты держишь его на руках, а он тебе улыбается.

Никто не заметил, что обеднел, потому что в обиходе у нас все те же вещи. Но каков обиход бриллианта? Для чего он, если нет праздничного торжества? Для чего дети, если не существует царства и мы не мечтаем, что они станут воителями, князьями, зодчими? Если судьба их быть слабым комочком плоти?

Люди не знают, что царство вскармливает их, как мать младенца, что оно питает душу, словно спящая где-то вдали и словно бы несуществующая возлюбленная. Но ты ее любишь, и благодаря твоей любви обретает смысл все, что с тобой происходит. Ты не слышишь ее тихого дыхания, но благодаря ему мир сделался чудом. Князь шагает по росистой траве на рассвете, и, пока не проснулись его землепашцы, царство бодрствует в его сердце.

И вот что еще загадочно в человеке: он в отчаянии, если его разлюбят, но когда разочаруется в царстве или разлюбит сам, не замечает, что стал беднее. Он думает: «Мне казалось, что она куда красивее... или милее...», и уходит, довольный собой, доверившись ветру случайности. Мир для него уже не чудо. Не радуется рассвет, он не возвращает ему объятий любимой. Ночь больше не святая святых любви и не плащ пастуха, какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Все потускнело. Одеревенело. Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту, он радуется свободе – свободе небытия.

Тот, в ком умерло царство, похож на разлюбившего. «Мое усердие – наваждение идиота!» – восклицает он. И прав. Потому что видит вокруг коз, овец, дома и горы. Царство было творением его влюбленного сердца.

Для чего женщине красота, если мужчины не вдохновляются ею? Чем драгоценен бриллиант, если никто не жаждет им обладать? Где царство, если никто ему не служит?

Влюбленный в чудесную картину хранит ее в своем сердце, живет и питается ею, как младенец материнским молоком, она для него суть и смысл, полнота и пространство, краеугольный камень и возможность подняться ввысь. Если отнять ее, влюбленный погибнет от недостатка воздуха, словно дерево с подсеченным корнем. Но когда картина вместе с человеком меркнет день за днем сама по себе, человек не страдает, он сживается с серостью и не замечает ее.

Вот почему нужно неусыпно следить, чтобы в человеке бодрствовало великое, нужно его понуждать служить только значимому в себе.

Не вещественность питает, а узел, благодаря которому drobный мир обрел целостность. Не алмаз, но желание им любоваться. Не песок, а любовь к нему племени, рожденного в пустыне. Не слова в книге, но любовь, поэзия и Господня мудрость, запечатлевшиеся в словах.

Если я понуждаю вас к сотрудничеству, если, сотрудничая, вы становитесь единым целым и целое, нуждаясь в каждом, каждого обогащает, если я замкнул вас крепостью моей любви, то как вы сможете воспротивиться мне и не возвыситься? Лицо прекрасно глубинным созвучием черт. На прекрасное лицо душа отзывается трепетом. Созвучные сердцу стихи вызывают на глаза слезы. Я взял звезды, родник сожаления. Ничего больше. Я соединил их произволом моего творчества, и теперь они ступени божественной гармонии, которой не обладали по отдельности и которая теперь овевает их.

Мой отец послал сказителя к опустившимся берберам. Наступили сумерки, сказитель сел посреди площади и запел. Его песня бередила души, будя созвучия, напоминая о многом. Сказитель пел о царевне и о долгом пути к любимой по безводным пескам под палящим солнцем. Жажда влюбленного была готовностью к жертве и одержимостью страстью, а глоток воды – молитвой, приближающей его к возлюбленной. Сказитель пел: «Сгораю без тенистых пальм и ласки капель, измучен жаждой улыбнуться милой, не знаю, что больнее жалит – зной солнца или зной любви?»

Жажда жаждать обожгла берберов, и, потрясая кулаками, они закричали моему отцу: «Негодяй! Ты отнял у нас жажду, а она – жертва во имя любви!»

Сказитель запел о могуществе опасности, она приходит вместе с войной и царит, превращая золотой песок в гнездо змей. Она возвеличивает каждый холм, наделяя его властью над жизнью и смертью. И берберам захотелось соседства смерти, оживляющей мертвый песок. Сказитель пел о величии врага, которого ждут отовсюду, который, словно солнце, странствует с одного края света на другой, и неведомо откуда ждать его. И берберы возжаждали близости врага, чье могущество окружило бы их, словно море.

В них вспыхнула жажда любить, они словно бы заглянули в лицо любви и вспомнили о своих кинжалах. Плача от радости, ласкали берберы стальные клинки – забытые, заржавленные, зазубренные, – но клинки для них были вновь обретенной мужественностью, без которой мужчине не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту. И бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти.

Берберы умерли людьми.

XIII

Вспомнив о берберах, мы решили лечить мое умирающее войско поэзией. И вот какое случилось чудо – поэты оказались бессильными, солдаты над ними потешались.

– Лучше бы пели о всамделишном, – говорили они, – о колодце в нашем дворе и как вкусно за ужином пахнет похлебка. А всякая ерунда нам неинтересна.

Так я понял еще одну истину: утраченное могущество невосвратимо. Мое царство никого больше не вдохновляет. Прекрасные картины умирают, как деревья. Истощив возможность заволаговивать, они превращаются в пепел и удобряют другие деревья. Я отошел в сторону, желая поразмыслить над новой загадкой. Да, видно, не существует в мире большей или меньшей подлинности. Существует большая или меньшая действительность. Я выпустил из рук волшебный узел, когда-то слившийся воедино. Узел ускользнул от меня и развязался. Теперь мое царство распадается будто само по себе. Но если буря обламывает ветки кедра, если суховей иссушает его древесину, если пустыня одолевает кедр, то не потому, что песок стал сильнее, – потому, что кедр перестал сопротивляться и распахнул ворота варварам.

Сказитель пел, а слушатели упрекали его в фальши. Патетика сказителя и впрямь звучала фальшиво, казалась отжившей и старомодной. «Неужто он и в самом деле влюблен до потери сознания во всю эту чепуху – в коз, овец, дома и пригорки? – интересовались мои солдаты. – Он что, всерьез обожает речную излучину? Но что она по сравнению с ужасом войны? Она не стоит и капли крови!» Ничего не поделать, и мне показалось, что поэты кривили душой, что рассказывали малым детям дурацкие побасенки, а дети смеялись над ними...

Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне с жалобой на сказителей. «Они не умеют петь!» – кричали генералы. Но я знал, почему фальшивят сказители: они воспевали бога, который умер.

А мои генералы, дотошные и недалекие, стали задавать мне вопросы. «Почему солдаты не хотят воевать?» – спросили они, обижаясь за свое ремесло, как могли бы спросить: «Почему жнецы не хотят жать хлеб?» Вопрос их не имел смысла. Речь шла не о ремесле. И с безмолвной моей любовью я спросил по-другому: «Почему мои солдаты отказываются умирать?» И моя мудрость стала искать ответа. Нет, не умирают ради овец, коз, домов и гор. Все вещественное существует, и ему не нужны жертвы.

Умирают ради спасения незримого узла, который объединил все воедино и превратил детальность мира в царство, в крепость, в родную, близкую картину. Тратят себя ради целостности, ибо и смерть укрепляет ее. Смерть, которая стала данью любви. Тот, кто неспешно тратил жизнь на добротную работу, что долговечнее человека, – на постройку храма, например, который будет шествовать сквозь века, – тоже согласится на смерть, если детальный мир покажется ему прекрасным замком и, влюбившись в замок, он захочет с ним слиться. Его примет большее, чем он сам. Он отдаст себя своей любви.

Но как согласиться отдать жизнь из выгоды? Выгоднее всего жить. Песни моих сказителей не будили в душе созвучий – значит, за кровь моим воинам платили фальшивой монетой. Их лишили возможности умереть во имя любви. Так зачем тогда умирать?

А тот, кто все-таки шел на смерть, повинувшись долгу, который стал непонятен, умирал в тоске: вытянувшись, он молчаливо смотрел тяжелым взглядом, от отвращения став жестоким.

И я стал искать в своем сердце слова для нового поучения, чтобы вернуть себе моих воинов. Но понял: человека ведет не логика и не мудрость, мне нужна новая картина, а картины творят художники и ваятели, заставляя камень и краски служить произволу своего творчества, и я стал молиться Господу, чтобы он мне открыл новую картину.

Всю ночь я бодрствовал среди моих воинов и слушал, как скрипит песок, неторопливо перемещая барханы. Ветер то завешивал луну красноватой дымкой, то сдувал ее. Я слышал, как перекликаются дозорные, стоя по углам моего треугольного лагеря, и так пусты были их громкие безнадежные голоса.

Я сказал Господу: «Нет у них больше крова... Слова истерлись и износились. Берберы ни во что не верили, но вокруг них было мощное царство. Мой отец послал к ним сказителя, и его голосом заговорила мощь царства. За одну ночь всемогущее слово обратило их в нашу веру. Но сильными были не слова, а царство.

У меня нет сказителя, нет истины, нет плаща, чтобы быть пастухом, и теперь они начнут по ночам убивать друг друга ударом ножа в живот, бессмысленным, словно проказа. Как мне собрать их снова?»

Там и здесь возвышали голос пророки, и люди прислушивались к ним. Уверовавшие – пусть их было немного – воодушевлялись и во имя своей новой веры готовы были умереть. Но их вера не интересовала других. Веры враждовали между собою. Ненавидя инакомыслящих, каждый строил свой маленький храм, привычно деля всех на заблудших и праведных. И то, что не признавалось истиной, объявлялось заблуждением, а то, что не считалось заблуждением, становилось истиной. Но я-то знаю, что заблуждение не противоположность истины, оно тоже храм и выстроено из тех же камней, но по-другому. Сердце мое кровоточило, видя готовность людей умереть за миражи. Я молился Господу: «Открой мне истину, в которой поместились бы все их маленькие правды, которая укрыва бы их всех одним плащом. Чтобы из враждующих былинки я сотворил дерево, душа его одухотворяла бы всех и одна ветка росла бы благодаря мощи другой, потому что дерево всегда чудо сотрудничества и цветение под солнцем.

Неужели у меня неостанет сердца, чтобы приютить их всех?»

И настало время торжества торгашей. Время издевательств над добродетелями. Все продавалось. Покупали невинность. Расхищали запасы, собранные мной на случай голода. Убивали. Но я не так простодушен, чтобы в разгуле страстей и порока видеть причину упадка моего царства. Я знаю, добродетели истощились, потому что умерло царство.

– Господи! – просил я. – Дай мне увидеть картину, которую они полюбили бы всем сердцем. И все вместе, благодаря усилиям каждого, становились бы сильнее и сильнее. Вот тогда у них появятся добродетели.

XIV

В безмолвии моей любви я казнил многих. И каждая смерть питала подземную лаву возмущения. Соглашаются с очевидным. Но очевидность исчезла. Никто уже не понимал, во имя какой из истин гибнет еще и этот. И тогда Божьей мудростью мне было дано поучение о власти.

Внятность языка правит лучше, чем принуждение. Принуждение помогает обучить языку, который ничем не обусловлен извне, который не истинней и не лживей других, но просто говорит об ином. Однако если благодаря принуждению люди выучили язык, а он разобшил их, то никаким насилием ты не заставишь их жить вместе.

Много насилия в моем произволе. Много я спрямляю.

Я принуждаю человека стать иным – более раскованным, просветленным, благородным, усердным и цельным в своих устремлениях. Когда он становится таким, ему не нравится та личинка, какой он был. Он удивляется свету в себе и, обрадованный, становится моим союзником и защитником моей суровости. Оправдание моей суровости – в действительности. Она – ворота, и удары бича понуждают стадо пройти через них, чтобы избавиться от кокона и преобразиться. Преобразившись, они не смогут быть несогласными, они будут обращенными.

Но что толку в суровости, если, пройдя через ворота и потеряв бывшего себя вместе с коконом, человек не ощутит за спиной крыльев, а узнает, что он – жалкий калека? Разве станет он воспевать искалечившую его суровость? Нет, он с тоской повернется к берегу, который покинул.

Как горестно бесполезна тогда алая кровь, переполнившая реку!

И казни мои – знак того, что я не могу обратить казнимых в свою веру, знак, что я заблудился. И вот с какой молитвой обратился я к Господу:

– Господи! Плащ мой короток, я – дурной пастух, и народ мой остался без крова. Я насыщаю одних, но другие обижены мною...

Господи! Я знаю, что любая любовь – благо. Любовь к свободе и любовь к порядку. Любовь к достатку в семье и любовь к нищете и жертвенности. Любовь к науке, которая хочет все рассмотреть, и любовь к вере, которая укрепляется слепотой. Любовь к иерархии, которая учит обожествлять, и любовь к равенству, которое учит делить все на всех. К досугу, позволяющему созерцать, и к работе, не оставляющей досуга. К духовности, бичующей плоть и возвышающей душу, и к жалости, пеленающей израненную плоть. Любовь к создаемому будущему и любовь к прошлому, нуждающемуся в спасении. Любовь к войне, сеющей семена, и любовь к миру, собирающему жатву.

Я знаю: противостоят друг другу только слова, а человек, поднимаясь ступенька за ступенькой вверх, видит всякий раз новую картину, и нет для него никаких противоречий.

Господи! Я хочу преисполнить моих воинов благородством, а храм, на который люди тратят себя и который для них смысл их жизни, переполнить красотой. Но сегодня вечером, когда я шел с пустыней моей любви, я увидел маленькую девочку. Она плакала. Я повернул ее к себе и посмотрел в глаза. Горе ее ослепило меня. Если, Господи, я пренебрегу им, я пренебрегу одной из частичек мира, и творение мое не будет завершено. Я не отворачиваюсь от великих целей, но не хочу, чтобы плакала и малышка. Только тогда мир будет в порядке. Маленькая девочка – тоже крупица Вселенной.

XV

Трудное дело война, если она не неизбежность и не страсть. Мои генералы, дотошные и недалекие, взялись за изучение хитроумных тактик, стремясь достичь победы раньше, чем начали воевать. Бог не воодушевлял их, они были только трудолюбивы и добросовестны. И, конечно, их ожидало поражение. Я собрал их и стал учить:

– Вы никогда не победите, потому что ищете совершенства. Но совершенство годится только для музеев. Вы запрещаете ошибаться и, прежде чем начать действовать, хотите обрести уверенность, что ваше действие достигнет цели. Но откуда вам известно, что такое будущее? Вы никогда не победите, если прогоните художников, скульпторов и выдумщиков-изобретателей. Повторяю вам еще и еще раз: башня, город и царство подобны дереву. Они – живые, ибо рождает их человек. Человек уверен, что главное – правильный расчет. Он не сомневается, что стены воздвигаются умом и соображением. Нет, их воздвигает страсть. Человек носит в себе свой город, он хранит его в своем сердце, как дерево – семечко. Вычисления, расчеты – оболочка его желания. Контур. Не объяснишь дерева, показав воду, минеральные соли и солнце, наделившие его своей силой. Не объяснишь города, сказав: «Своды будут стоять потому, что... вот расчеты строителей». Если город должен родиться, всегда найдутся расчетчики, которые правильно сделают расчет. Но они только помощники. Если считать их главными и верить, что их руки создали город, ни одного города не вырастет больше в пустыне. Они знают, как строятся города, но не знают почему. Отправь неграмотного вождя вместе с его племенем покорять скудный и каменистый край, а потом навести – новый город будет сверкать на солнце тридцатью куполами. Ветвями кедра покажутся тянущиеся к солнцу купола. Покоритель загорелся страстью иметь город с тридцатью куполами и как средство, путь и возможность удовлетворить свою страсть нашел столько расчетчиков, сколько нужно. Вы ничего не хотите, вы проиграете вашу войну, – сказал я моим генералам. – В вас нет одержимости. Вы утонули в разногласии разумных решений. Посмотрите: увлекаемый собственной тяжестью, камень катится вниз по склону. Остановится он, только достигнув дна. Все пылинки и все песчинки, благодаря которым он обрел свою тяжесть, стремятся вниз и только вниз. Посмотрите на воду в копани. Напирая на земляные стенки, вода ждет благоприятной случайности. Потому что случайность неизбежно возникнет. Не уставая, днем и ночью давит и давит на стенки вода. Она кажется спящей, но она живет. И стоит возникнуть узкой трещине, как вода уже в пути. Она втекла в нее, обогнула, если получилось, препятствие и, оказавшись в тупике, вновь погрузилась в мнимый сон до новой трещины, которая откроет перед ней новую дорогу. Ни единой возможности не упустит вода. И неведомыми путями, какие не вычислит ни один вычислитель, утечет просто потому, что весома, и вы останетесь без воды.

Ваша армия – вода, не перегороженная плотиной. А сами вы – тесто без закваски. Земля без семени. Толпа без желаний. Вы распоряжаетесь, а не увлекаете. Вы – несведущие свидетели. А темные силы, что напирают, да, напирают на стены царства, не станут дожидаться ваших распоряжений, – захлестнув, они погребут его под собой. Зато потом ваши еще более бестолковые историки объяснят вам причины катастрофы и скажут, что противники одержали победу благодаря лучшей выучке, расчету и военной науке. Но говорю вам: нет выучки, расчета и военной науки у воды, сметающей плотины и затопляющей города людей.

Я занимаюсь будущим, как ваятель: он ударяет резцом по глыбе мрамора, высвобождая свое творение. Отлетает осколок за осколком, за которым пряталось лицо бога. Кто-то скажет: «В мраморе уже был этот бог. Ваятель нашел его. Нашел, умея работать резцом». А я говорю вам: ваятель не рассчитывал и не находил. Он работал с камнем. Не капли пота, не блеск мелькающего резца заставили улыбнуться мрамору. Улыбаться умел ваятель. Освободи человека, и ему захочется творить.

XVI

Собрались мои генералы, дотошные и недалекие. «Нужно разобраться, – сказали они, – почему у нас люди враждуют и ненавидят друг друга?» И генералы устроили судилище. Они выслушивали одних, выслушивали других, вникали в притязания тяжущихся и восстанавливали справедливость, возвращая положенное по закону одним и лишая других незаконного обладания. Но вот причиной раздора стала ревность. Генералы пытались выяснить, кто прав, а кто виноват. И ничего не могли понять, так безнадежно запутывалось дело. Один и тот же поступок выглядел благородным в глазах одного и низким в глазах другого, великодушным и одновременно жестоким. Генералы засиживались до глубокой ночи, и чем меньше спали, тем больше тупели. Наконец они явились ко мне. «Все это безобразие, – сказали они, – заслуживает одного – потопа!»

А я вспомнил слова моего отца: «Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зерен, поменяй амбар. Если люди ненавидят друг друга, не вникай в дурацкие причины, какие они нашли для ненависти. У них найдутся другие и для любви, и для безразличия, но они о них позабыли. Я не обращаю внимания на слова, я знаю: они – вывеска, и прочесть ее трудно. Не умеют же камни передать тишину и прохладу храма; вода и минеральные соли – тень и листву дерева, так зачем мне знать, из чего выросла их ненависть? Она выросла, словно храм, и сложили ее из тех же камней, из каких можно было сложить любовь».

Они отягощали свою ненависть всяческими причинами, а я смотрел и не помышлял лечить их тщетным лекарством справедливости. Поиск справедливости только укрепил бы весомость причин, подтвердив правоту одних и вину других. Он укрепил бы озлобление наказанных и самодовольство оправданных. И вырыл бы между ними пропасть. Мой отец был мудр, и вот какую историю я вспомнил.

В давние времена отец завоевал новые земли и, не вполне доверяя жителям, оставил в помощь губернатору еще и генерала. Побывав в новых провинциях, путешественники поспешили к моему отцу.

– В такой-то области, – сказали они, – генерал оскорбил губернатора. Они больше не разговаривают.

Приехал путешественник из другой провинции:

– Государь, губернатор возненавидел генерала.

Приехали из третьей:

– Государь, тебя умоляют разобрать великую тяжбу – судятся генерал с губернатором.

Поначалу отец выслушивал причины ссор. И причины всегда были. Одного обидели, и он решил отомстить. Другого постыдно предали. Были неразрешимые споры, были кражи и оскорбления. И разумеется, всегда были правые и виноватые. Но пересуды и рассказы утомили моего отца.

– У меня есть дела поважнее, – сказал он, – мне недосуг разбирать их дурацкие ссоры. Они вспыхивают во всех концах страны, всякий раз новые и всегда одинаковые. Каким чудом я ухитрился набрать столько генералов и губернаторов, которые не могут ужиться друг с другом?

Когда у тебя падает скот, не копайся в падали, отыскивая причины зла, – сожги хлев.

Отец позвал к себе гонца:

– Я не определил права генерала и права губернатора. Они не знают, кто из них возглавляет торжества. Они ревнуют друг друга. Плечом к плечу идут к столу, но во главе садится либо тот, кто толще, либо тот, кто умнее, а второй его ненавидит. И клянется быть в следующий раз проворнее, поторопиться и усестись первым. Конечно, потом они будут сманивать друг у друга жен, красть овец и браниться. Они купаются в грязных сплетнях, а им кажется, доискиваются до истины. Но я не вслушиваюсь в бестолковый шум.

Если хочешь, чтобы они любили друг друга, не бросай им зерна власти, которые пришлось бы делить. Пусть один служит другому, а другой – царству. Тогда они будут помогать друг другу и строить вместе.

Отец жестоко наказал губернаторов и генералов за гвалт бессмысленных ссор.

– Царству нет дела до ваших распрей! – сказал им отец. – Я приказываю генералу подчиняться губернатору. С губернатора взыщу за неумение приказывать, с генерала – за неумение повиноваться. И обоим советую замолчать.

Во всех концах страны начались примирения. Вернулись похищенные верблюды. Неверных жен простили и оправдали. Оскорбления извинили. Похвалы начальника радовали подчиненного, и жизнь у него стала намного приятнее. А начальника радовала власть, и своей властью он возвышал подчиненного: пропускал его вперед и сажал во главе стола на торжествах.

– Дело не в чьей-то глупости, – говорил отец. – Дело в словах, которые передают пустяки, не достойные внимания. Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь проникателен. Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях?

Вот я и не обратил внимания на трудности моих генералов. А они просили меня вникнуть в проступки людей, отыскать причину их разногласий, навести порядок. Но я с молчаливой любовью обошел мой лагерь и еще раз посмотрел, как они ненавидят друг друга. Потом закрыл дверь и стал молиться Господу:

– Господи! Они враждуют, потому что не строят больше царства. Я не обманываюсь, думая, что царство не строится больше оттого, что они принялись враждовать. Научи меня, Господи, какой должна быть башня, чтобы они, несмотря на все свои несогласия, захотели потратить себя на нее. Башня, которая нуждалась бы в каждом из них и каждого бы насытила, понудив достигнуть предела своих возможностей и обогатив ощущением величия.

Я – дурной пастух, у меня короткий плащ, и я не умею сплотить их так, чтобы все они укрылись его полкой. Они ненавидят друг друга, оттого что замерзли. Ненависть – всегда неудовлетворенность. У всякой ненависти есть глубинный смысл, но она его прячет. Былинки, враждуя между собой, иссушают друг друга. Дерево, растя каждую из ветвей, становится мощнее. Дай мне, Господи, край Твоего плаща, чтобы укрыть им воина и землепашца, ученого мужа и просто мужа, и жену, и плачущего младенца – всех, всех до единого.

Речь зашла и о добродетели. Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне поговорить о ней.

– Все наши беды, – сказали они, – от того, что люди развратились. Их пороки разваливают царство. Нужно устрожить законы, ужесточить наказания. Нужно рубить головы тем, кто провинился.

А я? Я размышлял:

– Может, и впрямь пора рубить головы. Но добродетель всегда только следствие. Испорченность моего народа говорит о порче царства, которое требует для себя людей под стать. Здоровое царство питает в людях благородство.

И я вспомнил, что говорил мне отец:

– Добродетель – не беспорочность, она – поощрение в человеке человеческого. Вот я решил выстроить город и собрал всех подонков и проходимцев, чтобы они облагородились благодаря доверию и ощущению собственной силы. Я одарил их упоением, не похожим на жалкий запой краж, взломов и насилия. Их жилистые руки создают. Их гордыня становится башнями, храмом, крепостной стеной. Жестокость – величием и суровой дисциплиной. Посмотри, они стали слугами города, рожденного их руками. Города, в который вложили душу. Спасая свой город, они умрут у его стен. Посмотри, они – воплощенная добродетель.

– Воротить нос от навоза – этой мощи земли – из-за червей и вони – значит поощрять небытие. Нельзя хотеть, чтобы человек перестал потеть. Вместе с потом ты изничтожаешь и людскую силу. Во главе царства поставишь кастратов. Кастраты уничтожат пороки, которые свидетельствуют о силе – силе без доброго применения. Кастраты уничтожат силу и вместе с ней жизнь. Став хранителями музея, они будут блюсти мертвое царство.

– Кедр, – говорил отец, – питается брением, но превращает его в смолистую хвою, а хвою питает солнце.

– Кедр, – говорил мне отец, – это грязь, достигшая совершенства. Очистившаяся до высокой добродетели грязь. Если хочешь спасти свое царство, позаботься об усердии. Усердие очистит и объединит людей. И тогда те же самые поступки, стремления и деяния, которые разрушали твой город, будут укреплять его.

А я добавлю:

– Стоит закончить строительство, город умрет. Люди живут отдавая, а не получая. Деля накопленное, люди превращаются в волков. Усмирив их жестокостью, ты получишь скотину в хлеве. Но разве возможно закончить строительство? Утверждая, что завершил свое творение, я сообщаю только одно: во мне иссякло усердие. Смерть приходит за теми, кто успел умереть. Совершенство недостижимо. Стать совершенным – значит стать Господом. Нет, никогда не завершить мне мою крепость...

Поэтому я не уверен, что мне помогут отрубленные головы. Конечно, дурную голову лучше отсечь, чтобы не портила остальные, – гнилое яблоко выбрасывают из подпола и больную корову выводят из хлева. Но лучше поменять подпол и хлев, они в первую очередь в ответе за гниение и болезни.

И зачем карать, если можно обратить в свою веру? И я помолился Господу:

– Господи! Дай мне край Твоего плаща, чтобы я укрыл всех, кого тяготят несбыточные желания. Я устал карать в страхе за свое царство тех, кому не сумел дать приют. Я знаю, они – соблазн для других и угроза моей несовершенной истине. Но я знаю, истина есть и у них, и знаю, они тоже полны благородства.

XVII

Ветер слов – тщета, я всегда презирал его. Я не верю в пользу словесных ухищрений. И когда мои генералы, дотошные и недалекие, говорят мне: «Народ возмущен, но вот какой фокус мы проделаем...» – я гоню их прочь.

На словах можно фокусничать как угодно, но что создашь с помощью фокусов? Что делаешь, то и получаешь. То, над чем трудишься, ничуть не больше. И если, добиваясь одного, твердишь, что стремишься к другому, прямо противоположному, то только дурак сочтет тебя ловкачом. Осуществится то, к чему ты стремился делом. Над чем работаешь, то и создаешь. Даже если работаешь ради уничтожения чего-то. Объявив войну, я создаю врагов. Выковываю их и ожесточаю. И напрасно я стану уверять, что сегодняшнее насилие создаст завтра свободу, – я внедряю только насилие. С жизнью не слукавишь. Не обманешь дерево, оно потянется туда, куда его направят. Прочее – ветер слов.

И если мне кажется, что я жертвую вот этим поколением во имя счастья последующих, я просто-напросто жертвую людьми. Не этими и не теми, а всеми разом. Всех людей я обрекаю на злосчастье. Прочее – ветер слов.

И если я воюю во имя мира, я укрепляю войну. С помощью войны не установить мира. Довериться миру, который держится на оружии, и разоружиться – значит погибнуть. Я могу установить мир только с помощью мира. Иными словами, готовностью принимать и вбирать, желанием, чтобы каждый человек обрел в моем царстве воплощение своей мечты.

Люди любят одно и то же, но каждый по-своему. Несовершенство языка отторгает людей друг от друга, а желания их одинаковы. Я никогда не встречал людей, любящих беспорядки, подлость и нищету. Во всех концах Вселенной люди мечтают об одном и том же, но пути созидания у каждого свои. Один верит, что человек расцветет на свободе, другой – что человек возвеличится благодаря принуждению, но оба они мечтают о величии человека. Этот верит во всеобъединяющее милосердие, тот презирает его, видя в нем потакание зловонным язвам, и понуждает людей строить башню, чтобы они почувствовали необходимость друг в друге, но оба они пекутся о любви. Один верит, что важнее всего благоденствие: избавленный от забот и тягот человек будет развивать ум, думать о душе и сердце. Другой не верит, что совершенство души зависит от пищи и досуга, считая, что душа возрастает, неустанно даря себя. Он считает прекрасным лишь тот храм, который стоит многих усилий и возводится из бескорыстного угождения Господу. Но оба они хотят облагородить сердце, душу и ум. И все по-своему правы: кого облагораживают рабство, жестокость и оупение от тяжких трудов? Но не облагораживают и распущенность, расхлябанность, потакание гниющим язвам и мелочная суэта, рожденная желанием хоть как-то занять себя.

Но смотри, люди уже взяли в руки оружие, чтобы защитить общую для всех любовь, которую эфемерные слова сделали такой различной. Идет война, идет поиск, борьба, и пусть беспорядочно, но люди все-таки движутся в направлении, которое так властно управляет ими, они похожи на дерево, о котором пел мой поэт: слепое, оно оплетало стены своей темницы, пока не вышибло наконец чердачное окно и, прямое и торжествующее, не потянулось к солнцу.

Я не навязываю мира. Принудить к миру – значит создать себе врагов и растить недовольство. Действенно лишь умение обратить в свою веру, а обратить означает и приютить. Протянуть каждому удобную одежду по росту, укрыть всех одним плащом. Обилие противоречий говорит лишь об отсутствии гениальности. И я повторяю мою молитву:

– Просвети меня, Господи! Дай возвыситься мудростью и примирить всех, никого не принуждая отказаться от рожденных усердием желаний. Примирить, подарив новую мечту, которая покажется им старинной, знакомой. Вот и на корабле, разве не так, Господи?! Те, кто натягивает паруса у левого борта, спорят с теми, кто натягивает их у правого. Они ненавидят

друг друга, потому что не умеют понять. Но если научить их видеть целое, они станут помогать друг другу и служить ветру.

Медленно растёт дерево мира. Словно кедру, нужно ему вобрать и переработать множество песчинок, чтобы создать из них единство...

Хотеть мира – значит строить хлев, где могло бы уснуть все стадо. Строить дворец, где хватило бы места всем и не надо было бы оставлять свою кладь у двери. Не надо ничего отрезать и калечить ради того, чтобы войти и разместиться. Печься о мире – значит просить у Господа плащ пастуха, чтобы укрыть каждого, как бы далеко ни простирались его желания. Хватает же у матери любви на всех ее сыновей, и на застенчивого и робкого, и на жадного к жизни, и на тщедушного никчемного горбуна. Что ей до непохожести? Каждый трогает ее сердце. И каждый, по-своему ее любя, служит ее славе.

Но как медленно растёт древо мира. И света ему нужно куда больше, чем есть у меня. Мне еще ничего не ясно. Я выбираю и потом отказываюсь. Легко было бы жить мирно, если бы все люди были одинаковы.

Нет, ничему не помогут уловки моих генералов, а они, дотошные и недалекие, пришли ко мне и принялись рассуждать. Мне опять вспомнился мой отец. «Искусство рассуждать – это искусство обманывать самого себя», – говаривал он.

А генералы рассуждали: «Нежелание воинов служить царству означает, что они одрябли. Мы будем посылать их в засады, они закалятся, и царство будет спасено».

Так мог бы рассуждать профессор, выводя из одного умозаключения другое. Но жизнь – она просто есть. Как есть дерево. И росток вовсе не средство, которое отыскивало семечко, чтобы превратиться в ветку. Семя, росток и ветка – это совместность возрастания.

Я поправил моих генералов: «Воины одрябли, потому что царство перестало снабжать их жизненной силой и они его разлюбили. Когда кедр истощает жизненную силу, он перестает превращать песок в древесину и сам потихоньку превращается в песок. Нашим воинам нужна вера, тогда они воодушевятся». Но генералы не поняли меня, они сочли мои слова преступным попустительством. Я не стал им возражать. И они довели свою игру до конца, послав людей умирать за сухой колодец, где по случайности расположился враг.

Нет слов, схватка из-за колодца была прекрасна. Она была танцем вокруг вожаемого цветка, и отвоеванная земля становилась наградой победителю, вместе с давно забытым желанием побеждать. Испугавшись нас, враг взметнулся беспорядочной стаей воронья, ища себе места то здесь, то там, где он был бы в безопасности. Песок барханов, что прятали его где-то там, впереди, пропах порохом. Каждый, играя жизнью и смертью, чувствовал себя мужчиной. Каждый, то приближаясь, то удаляясь от колодца, участвовал в танце.

Но будь в колодце вода, игра была бы другой. Лишенный воды и смысла, колодец был игровой костью, на которую не поставили состояния. Но генералы видели, как, играя в кости, один игрок смошенничал, а другой застрелился, и поверили во всемогущество игровых костей. Они поставили на кон сухой колодец. Но кто станет стреляться, даже если партнер смошенничал, когда на кону пусто?

Мои генералы никогда хорошенько не понимали, что значит для жизни любовь. Они видели, как радуется заре влюбленный, потому что вместе с солнцем в нем проснулось счастье. Видели, как радуются заре воины, потому что солнце приближает их победу. Победу, которая поутру потягивается в них и заставляет смеяться. И генералы поверили во всемогущество зари.

Но я говорю: если нет любви, то не стоит браться ни за какое дело. Если не верить, что осуществится твоя мечта, скучно играть в кости. Скучной будет заря, вернувшая тебя к собственной опустошенности. И со скукой в душе ты отправишься воевать ради бестолкового колодца.

Но когда ты влюблен, ради своей любви ты готов на самый изнурительный труд, и чем он изнурительней, тем больше твое воодушевление. Ты тратишь себя, ты растешь. Но нужен тот, кто примет отданное. Дарить себя и тратиться попусту – разные вещи.

Мои генералы, видя радость, с какой отдают себя влюбленные, не догадались, что есть тот, кому они себя отдают. Им не пришло в голову, что для воодушевления мало обобщать и ограбить человека.

Я увидел, с какой горечью умирал наш раненый. Он сказал мне:

– Государь, я умираю... Я отдал свою жизнь. А мне ничего не дали. Я уложил врага пулей в живот, и, пока мне за него не отомстили, я смотрел на убитого. Мне показалось, что он был счастлив, потому что отныне нераздельно принадлежал тому, во что верил и чему служил. Смерть стала его богатством. А я, я умираю, служа капралу, моя смерть ничего ему не прибавит, а умирая зазря, трудно чувствовать себя счастливым. Я умираю достойно, но меня тошнит...

Остальные? Они разбежались.

XVIII

В тот же вечер, поднявшись на черную скалу, я смотрел на черные точки в треугольнике моего лагеря. Да, он был по-прежнему треугольным, в нем по-прежнему стояли дозорные, и было много пуль, пороха и ружей, но, несмотря на это, он готов был рассыпаться и исчезнуть, как сухое мертвое дерево. Я простил моих воинов.

Я понял: гусеница, приготовив кокон, умирает. Дожив до семян, засыхает цветок. Кто бы ни перерождался, он мучается тоской и отчаянием. Ведь неожиданно он сделался ненужным. Кто бы ни перерождался, он – тоска о былом и могила. Мой лагерь приготовился к перерождению. Он износил бывшее царство, которое никто не сумел бы омолодить.

Нельзя вылечить гусеницу, цветок, ребенка. Ребенок переродился, но, желая быть по-прежнему счастливым, требует, чтобы его вернули в детство, вернули занимательность наскучившим играм, сладость – материнским поцелуям, вкус – молоку. Но игры скучны, материнские поцелуи досаждают, молоко отвратительно, и подросток тоскует и мучается. Износив бывшее царство, люди, сами того не подозревая, требуют нового. Ребенок, став мужчиной, вырос из материнских объятий и будет страдать от неприкаянности до тех пор, пока не найдет себе жену. Только жена вновь примирит его с самим собой и даст покой.

Но кто в силах показать людям новое царство? Кто из дробности мира может мощью своего гения создать новую картину и заставить людей всмотреться в нее? Всмотреться и полюбить? Нет, не логик, а художник, ваятель. Ваятелю не нужны словесные ухищрения, он надевает камень силой будить любовь.

XIX

Я позвал к себе зодчих и сказал:

– Вы в ответе за будущий город, – не за душу – за лицо и улыбку. Постарайтесь расселить людей как можно лучше. Город должен быть удобным, чтобы силы в нем не тратились понапрасну. Но имейте в виду и никогда не забывайте разницы между существенным и насущным. Хлеб – насущен, человек должен быть накормлен: голодный – недочеловек, он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость к Богу важнее хлеба. Мне не интересно достоинство пищи. Меня не заботит, будет ли человек счастлив, благополучен и удобно устроен. Меня заботит, какой человек будет счастлив, благополучен и устроен. Лавочнику, распухшему от безмятежной жизни, я предпочитаюномада, он всегда бежит по следам ветра, и служение такому просторному Богу совершенствует его день ото дня. Бог отказал в величии лавочнику и дал его номаду, поэтому я отправляю мой народ в пустыню. В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли свеча.

Но я не считаю, что принц хуже грузчика, генерал – сержанта, начальник – подчиненного только потому, что они богаты. Живущие за каменной стеной не кажутся мне хуже тех, кто построил для себя земляной вал. Я не разрушаю иерархическую лестницу, которая позволяет человеку подниматься все выше и выше. Но никогда не спутаю цель и средство, храм и ступени к нему. Лестница необходима для храма, иначе он будет пуст. Но значим только храм. Необходимо, чтобы каждый жил и у каждого была возможность подниматься все выше. Однако жизнь – только ступени, ведущие к человеку. Храмом будет душа, которую я создам в человеке, душа и есть самое главное.

Я запрещаю вам заниматься насущным, считать его своей целью. Да, дворцу нужна кухня, но значим только дворец, а кухня его обслуживает. Вот я созвал вас и спросил:

– Зодчие! Что главное в вашей работе?

Вы стояли передо мной и молчали.

Наконец вы ответили:

– Мы служим людям. Даем им кров.

Так служат скоту, строя ему хлев, привязывая в стойле. Да, конечно, стены нужны человеку, он должен быть укрыт, чтобы стать семенем. Но ему нужен и Млечный Путь, и морской простор, хотя ни звезды, ни море никак ему не служат. Но что это значит – служить? Я видел, как долго и тяжело взбирались люди на гору, обдирали колени и ладони, изнуряли себя тяготой подъема, торопясь встретить рассвет на вершине и утолить свою жажду голубой глубиной долины, как утоляют ее водой долгожданного озера. Они садились, они смотрели, они дышали полной грудью. В сердце у них билась радость, они нашли лекарство против усталости от жизни.

Я видел, как стремились люди медленный шаг своих караванов к морю, потому что оно им было нужно. Они стояли на высоком берегу, оглядывая сгустившийся простор, таящий в своих глубинах тишину, кораллы и водоросли, вдыхали горечь соли и любовались бесполезным зрелищем, ведь моря с собой не унесешь. Любовались, и сердца их высвобождались из рабства будничности. Может, с отвращением и тоской, как на решетки тюрьмы, смотрели они на чайник, кухонную утварь, недовольную жену, – на пелену обыденности, которая может быть любимой картиной, таящей сокровенную суть мира, а порой становится саваном, связывает по рукам и ногам, не дает вздохнуть.

Они запасались простором и приносили в дом покой и счастье, которым надышались. Дом становился другим от того, что где-то голубела долина на восходе солнца, где-то плескалось море. Все тянется к большему, чем оно само. Все хочет стать дорогой в неведомый мир, окном в него.

Так что не говорите, что служите людям, когда складываете кирпичные стены. Если люди не видели звезд и в вашей власти выстроить для них Млечный Путь с небывалыми пролетами и арками, потратив на строительство целое состояние, неужели вы сочтете, что выбросили деньги на ветер?

Еще и еще раз повторяю вам: если вы построили храм – бесполезный, потому что он не служит для стряпни, отдыха, заседаний именитых граждан, хранения воды, а только растит в человеке душу, умиротворяет страсти и помогает времени вынашивать зрелость, если храм этот похож на сердце, где царит безмятежный покой, растворение чувств и справедливость без обездоленности, если в этом храме болезнетворные язвы становятся Божьим даром и молитвой, а смерть – тихой пристанью среди безбурных вод, – неужели вы сочтете, что усилия ваши пропали даром?

Если ты в силах хоть изредка привечать тех, чьи руки покрылись кровавыми мозолями, кто, не щадя себя, натягивал в бурю паруса, кто от соленой ласки моря превратился в кровоточащую рану, привечать в мирных водах гавани, где остановилось движение, время, ратоборство, где мерцает водная гладь, чуть примятая прибытием большого корабля, неужели и тут ты сочтешь свои труды бесполезными? А как сладостна для усталых тихая вода залива после мятущейся гривы морских бурунов...

Вот чем ваш талант может одарить человека. Сложив камни по-своему, вы выстроите тишину, необычайные надежды и мечту о тихой гавани.

Ваш храм своей тишиной зовет их погрузиться в себя. И они открывают, каковы они. Без храма звать их будут только лавки. И они откроют в себе покупателя. Никогда не родится в них величие. Никогда не узнать им, как они пространственны.

Я знаю, вы скажете: толстяк лавочник и так всем доволен, ему ничего больше не нужно. Когда у человека мало сердца, удовлетворить его не трудно.

Глупый язык именует ваши творения бесполезными. Но сами люди опровергают словесное суждение. Вы же видите, со всех концов света стекаются они к каменным чудесам, от строительства которых вы отказались. Вы отказались строить житницы для души и сердца. Но видели ли вы когда-нибудь, чтобы люди объезжали мир ради складских помещений? Да, все пользуются товарами и продуктами, пользуются, поддерживая свое существование, но они ошибаются, если думают, что пища для них важнее всего. В странствие они пускаются не ради пищи. Кто не видел путешественников? Куда они едут? Что их соблазняет? Иногда чудесный залив или одетая снегом гора, вулкан, обросший наплывами лавы, но чаще всего утонувший во времени корабль, который один и может увезти куда-то.

Они обходят его со всех сторон и, сами того не подозревая, мечтают стать пассажирами. Потому что этот корабль увозит от небытия. Но храмы не берут больше странников, не ведут их и не перерождают, как куколка из личинки в благородную бабочку. Теперешние странники лишились каменных кораблей, у них нет возможности переродиться. В конце странствия они не получают вместо скудной увечной души щедрую и благородную. И вот они кружат вокруг затонувших храмов, осматривают, вглядываются, бродят по истертым до блеска каменным плитам и, заблудившись в лесу мраморных колонн, слышат в величественной тишине только эхо собственных голосов. Им кажется, что они обогащаются знанием истории, но биение собственного сердца могло бы подсказать им, что, переходя от колонны к колонне, из зала в зал, из нефа в неф, они ищут вожатого; что, озябнув сердцем, собрались здесь, взывая о помощи, которой неоткуда ждать, что жаждут перерождения, в котором им отказано. Они погребены сами в себе, потому что храмы мертвы и засыпаны песком, потому что здесь лишь корабли, получившие пробоину и потерявшие драгоценный груз полумрака и тишины; голубая вода неба хлещет в обвалившиеся купола, и тихо шуршит песок, сыпаясь сквозь трещины стен. А голод, которым голодны люди, не утолен...

Так вот что вы будете строить, говорю я вам. Да, человеку нужны непроходимые леса, Млечный Путь и равнина в голубой дымке, на которую смотрят с вершины горы. Но сравнится ли необъятность Млечного Пути, голубеющей долины и моря с необъятностью тьмы в каменном чреве, если зодчий сумел наполнить его тишиной? И вы, зодчие, вы сами обретете величие, потеряв интерес к насущному. Созидавая поистине великое, вы переродитесь. Оно не станет служить вам, оно заставит вас служить себе, и вам придется вырасти. Вы превзойдете самих себя. Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы.

Вы станете великими, если камни, над которыми вам дана власть, перестанут быть просто камнями, предназначенными служить нехитрым будничным удобствам, если эти камни станут ступенями, ведущими к престолу Господа.

XX

Я устал от рассуждений моих генералов, дотошных и недалеких. А они обсуждали будущее, как обсуждают закон в парламенте. И полагали, что очень предусмотрительны. Лучше всего мои генералы знали историю, даты моих побед, даты моих поражений. Даты рождений и смертей они знали наизусть. Они не сомневались, что события вытекают одно из другого. История человечества представлялась им длинной цепочкой причин и следствий, начиналась она с первой строки исторического учебника и продолжалась до той главы, где до сведения грядущих поколений доводилось, что пройденный путь благополучно привел к рождению целого созвездия генералов. Теперь генералы от следствия к следствию усердно выстраивали будущее и со своими тяжеловесными конструкциями шли ко мне. «Вот так ты должен поступать, чтобы народ был счастлив... так, чтобы установить мир... так, чтобы царство процветало. Все у нас по науке, мы изучили историю».

Но я-то знаю, что наукой становится только то, что неизменно повторяется. Сажая семечко кедр, предвидят, что вырастет дерево. Бросая камень, предвидят, что он упадет. Потому что кедр повторяет кедр, падение повторяет падение. И не важно, что камень брошен впервые и впервые посажено семечко. Но кто возьмется предсказать судьбу этого кедра? Из семечка он переродился в дерево, из дерева в семечко, и то, как он будет перерождаться, не имеет себе подобных. Этот кедр существует впервые, он растет по-своему, он – таков, каких еще не бывало. И я не знаю, каким он вырастет. Не знаю я, и куда движется мой народ.

Да, причины того, что произошло, генералы отыскивали с помощью логики. «Ибо все имеет свои причины, – объяснили они мне, – и все – свои последствия». Двигаясь от причин к последствиям, они велеречиво вышли на ложный путь. Потому что случившемуся можно отыскать причину, но понять, что случится, по тому, что имеешь, невозможно.

После схватки с врагом я могу прочесть на твердом, мелком песке все, что с ним было. Потому что и мне известно, что одному шагу непременно предшествовал другой, что цепочка вытягивается звено за звеном, не потеряв ни единого. Если только не было ветра, что пренебрежительно смахнул все письмена, словно вытер ребячью грифельную доску. А без ветра след за следом я доберусь до истока пути и вновь возвращусь к ложбине, где остановился наш враг, сочтя себя в безопасности, и где мы застигли его врасплох. Я прочитал его историю, но у меня нет и намек на то, что случится с ним в будущем. То, что ведет караван, не имеет ничего общего с песком, которым располагаю я. Следы начертили мне контур, но он пуст, он ничего не знает о ненависти, страхе и любви, которые правят людьми.

– Ну что ж, – сказали мне генералы, увязшие в своей безнадежной тупости, – нам все ясно. Мы узнаем, что управляет ими: ненависть, любовь или страх, и пойдем, чего ждать в будущем. Будущее укоренено в настоящем...

Я ответил им: да, мы можем предвидеть следующий шаг каравана. Он должен повторить предыдущий и быть точно таким же, как он. Повторяемость – вот основа нашей науки. Но караван в ту же секунду свернет с пути, предначертанного моей логикой, потому что ему захотелось чего-то совсем иного...

Генералы не поняли меня, и я рассказал им историю о великом бегстве.

Случилось это на соляных коях. Песок и голые камни не слишком пригодны для жизни, но люди кое-как приспособились. В небе палило белое солнце, а в глубине узких штолен сверкала не вода, а глыбы соли. Соль убила бы любую воду, если б колодцы не высохли сами. Солнце и каменная соль ждали людей, которые приходили сюда с водой в бурдюках и кирками, чтобы крошить прозрачные глыбы, которые были для них и жизнью, и смертью. А поработав, они возвращались на благодатную, щедрую водой землю, привязанные к ней, словно дети к матери.

Жестоким и жгучим, как голод, было здешнее солнце. Вокруг соляных копей гладь песка пропороли черные скалы, твердостью превосходящие алмаз, и ветер с тщетной злобой вгрызался в них. Веками ничего не менялось в незыблемом порядке пустыни, и скалам этим было предназначено стоять еще много-много веков. Веками будет стачивать гору тончайшее лезвие ветра, веками будут добывать соль люди, а верблюды подвозить припасы и воду и отвозить домой этих каторжных...

Но однажды на заре люди взглянули на гору, и явлено им было то, чего они никогда не видали.

Волей ветра, точившего скалу вот уже много веков подряд, на ней показался гигантский лик, и был он гневен. На пустыню, на копи, горстку людей, прижившихся на окаменевшей соли, куда более жестокой, чем соленая гладь океана, смотрел из пропасти ясного неба черный разгневанный лик, и рот его приготовился изрыгать проклятия. Ужас обуял людей, и в панике они обратились в бегство. Весть достигла работавших в глубине копей, они выбрались наверх, взглянули на гору и со смятенным сердцем заторопились к палаткам, наскоро собрали пожитки, браня жен, детей и рабов, а затем двинулись на север, палимые жестоким солнцем. У них не было воды. Они все погибли.

Бессмыслицей оказались предсказания логиков, которые видели, как медленно выветривается гора, как жадно люди цепляются за жизнь. Откуда было знать логикам, что неожиданно возникнет?

Когда я обращаю взгляд к истокам, я вижу вместо храма кучу кирпичей и камня. Мне не трудно их увидеть. Как не трудно расчленить труп и увидеть кости и мускулы, расчленить дом и получить кучу щебня, расчленить царство и получить горы, дома, коз и овец...

Но если я направляю свой шаг в будущее, я должен буду считаться с постоянным рождением чего-то нового, оно будет преобразовывать существующее, но предугадать его мне не дано, потому что оно иной природы. Это новое исчезает и рассеивается, стоит только попробовать его расчленить. Если сложить камни, родится новое – тишина, но она исчезнет, если их разобрать. Лицо возникает как новое для мрамора и исчезает, если мрамор разобьется. Для губ, носа и глаз лицо тоже что-то новое и исчезает, если смотреть только на губы или нос. Что-то новое и царство для домов, гор, овец и коз...

Я не в силах предвидеть, я в силах созидать. Будущее создают. Если у меня рука ваятеля, то прекрасным лицом станут drobные черты моего времени и то, чего я хочу, осуществится. Но я скажу неправду, утверждая, что сумел предугадать будущее. Я сумел его сотворить. Дробные черты окружающего я превратил в картину, заставил полюбить ее, и она стала управлять людьми. Так управляет подданными царство, требуя иной раз заплатить за свое существование жизнью.

Вот я постиг и еще одну истину: попечение о будущем – тщета и самообман. Проявлять уже присутствующее – вот единственное, над чем можно трудиться. Проявить – значит из дробности создать целостность, которая преодолет и уничтожит разброд. Значит, из кучи камней создать тишину.

Остальные притязания – ветер слов...

XXI

Все мы знаем: в рассуждениях есть логика, но нет истины. Как изощренны были мои доказательства, как весомы доводы, но мои противники не стронулись с места. «Да, конечно, ты прав, – услышал я в ответ, – но все-таки мы думаем по-другому». – «Тупицы!» – можно сказать о них. «Нет, мудрецы!» – не соглашусь я. Они чтут истину, которая не в словах.

А ведь многие считают, что слова несут в себе весь мир, что человеческое слово исчерпывает Вселенную, что слово вмещает в себя и звезды, и счастье, и закат, и царство, и любовь, и зодчество, и боль, и тишину... Но я знаю, человек стоит перед огромной горой и горсть за горстью делает ее своим достоянием.

Я не сомневаюсь, что архитектор, который спроектировал крепостную стену, знает, что такое стена, и по его проекту возможно ее построить. Стена и есть истина для архитектора. Но какой архитектор понимает всю значимость крепостной стены? Разве прочитаешь по чертежу, что стена – это плотина? Поймешь, что она – кора кедра, укрывающая живую плоть города? Откуда узнаешь, что она – ограда для усердия, что она – помощь и что огражденные незыблемой крепостью люди, поколение за поколением, будут работать на Господа. Для строителей стена – расчеты, кирпич и цемент. Так оно и есть, стена – расчеты, кирпич и цемент. Но она и мидель-шпангоут корабля, и дом, где есть место каждому. Я верю только в личную обособленную жизнь. Обособленная, частная вовсе не означает ограниченная, скудная. Она – цветок, она – окно, раскрытое, чтобы понять весну. Она – весна, преобразившаяся в цветок. Если нет ни одного цветка у весны, она для меня не весна.

Может, и не важна та любовь, с какой жена ждет возвращения мужа. Не важен и прощальный взмах руки. Но этот взмах – примета чего-то бесконечно важного. Может, и не важен свет одного окошка в городе – светит маленький фонарик на корабле, – но за ним чья-то жизнь, и у меня нет меры, чтобы измерить ее важность, смысл и значение.

Стены – кора, кокон. Город – личинка, город – дерево. Светящееся окно – цветок на его ветке. И, возможно, за этим окном бледный малыш пьет молоко, не умеет пока молиться, играет, шалит и станет завоевателем будущего, заложит новые города и обнесет их крепостными стенами. Он – семечко моего дерева. Важное семечко, неважное семечко – откуда мне знать? Я и не думаю об этом. Ведь я уже говорил: не надо членить дерево, чтобы понять и почувствовать его.

Но строитель не подозревает о растущем дереве. Он уверен, что знает толк в крепостных стенах, потому что поставил их. Он уверен: его расчеты – основа и суть любой стены, подкрепи их кирпичом и цементом, и встанет стена – укрепление города. Но смысл стены несводим к чертежу и расчету, и если возникнет необходимость объяснить вам, что такое стена, то я соберу вас вокруг себя и год за годом вы будете учиться постигать ее, и трудам вашим не будет конца, потому что нет такого слова, которое исчерпало бы ее смысл, суть и сущность. Ведь и я только обозначаю что-то знаками. Только знак – расчеты строителей. И кольцо мужских рук, оберегающее беременную жену, таящую в себе мир и будущее, – тоже только знак.

Все мы похожи на человека, который бедными своими словами объясняет печальному, что печалиться ему не о чем. Но разве слову справиться с горем? Или с радостью? Или с любовью? Слово – это попытка соединиться с сущим и присвоить его себе. Вот я сказал «гора» и забрал ее вместе с гиенами, шакалами, затишками, тропой к звездам, выветренным гребнем... Но у меня всего-навсего слово, и его нужно наполнить. И если я сказал: «Крепостная стена», то нужно наполнить и это слово. Каждый по-своему, наполняют его строители, поэты, завоеватели, бледный малыш и его мама, которая благодаря этой стене спокойно раздувает огонь в очаге и ставит греть к ужину молоко, не опасаясь, что ее потревожит кровавая резня. Можно рассуждать о постройке моих стен, но как рассуждать о самих стенах, если наш язык

не в силах вместить их целиком? Если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого?

Желая показать мне город, меня пригласили подняться на гору. «Посмотри, вот наш город», – сказали мне. И я залюбовался четким порядком улиц и рисунком крепостных стен. «Вот улей, – подумал я, – в котором уснули пчелы. Ранним утром они разлетятся по полям за медом. Люди трудятся и пожинают плоды. Вереница осликов повезет в житницы, амбары и на рынки плоды их дневных трудов... Город отпускает своих жителей на заре, чтобы вечером собрать их с грузом припасов на зиму. Человек – это тот, кто производит и потребляет. Я помогу ему, если упорядочу производство и распределение, отладив их, как в муравейнике».

Другие, показывая мне город, перевезли меня через реку, чтобы я полюбовался им с противоположного берега. На закатном небе нарисовались темные силуэты: дома повыше, пониже, побольше, поменьше и минареты, как мачты, дотянулись до пурпуровых дымных облаков. Мне показалось, я вижу флот, готовый к отплытию. Незыблемый порядок, установленный зодчими, перестал быть сутью города, ею стало обживание новых земель при попутном ветре для каждого корабля. «Вот, – сказал я, – горделивая поступь завоевания. Пусть главными в моих городах станут капитаны, только вкус незнаемого, творчество и победа делают человека счастливым». И слова мои не были ложью, но не были и истиной, они просто говорили о другом.

Третьи, желая, чтобы я полюбовался их городом, увлекли меня в глубь крепости и привели в храм. Я вошел, и меня обняла тишина, полумрак и прохлада. Я задумался. И размышление показалось мне драгоценней и побед, и пищи. Я ем, чтобы жить, живу, чтобы побеждать, и побеждаю, чтобы вернуться к себе и предаться размышлениям, чувствуя, как ширится душа в тиши моего отдохновения. «Вот, – сказал я, – истинная сущность человека, душа живет его. Главными в моих городах будут пастыри и поэты. Благодаря им расцветут души». И эти слова не были ложью, но не были и истиной, они опять были о другом.

Теперь, став мудрее, я не пользуюсь словом «город» для логических рассуждений, словом «город» я обозначаю все, что легло мне на сердце, все, что я узнал и пережил: мое одиночество на его улицах, распределение пищи под кровом, горделивый силуэт на равнине, прекрасный четкий рисунок с высоты горы. И многое другое, чего мне не дано выразить в слове или что я позабыл в эту минуту. Так как же рассуждать при помощи слов, если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого?..

XXII

Мне показалось, что нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из поколения в поколение...

Не спеша я иду по моему городу, смотрю на него с молчаливой любовью и вижу: вот невеста говорит с нареченным и улыбается ему с робкой нежностью, вот жена, она ждет с войны мужа, вот хозяйка, она выговаривает за нерадивость служанке, вот оратор, он проповедует смирение, а может быть, необходимость справедливости, вот прохожий, он возмутился, раздвинул толпу зевак и встал на защиту слабого, вот резчик, он режет слоновую кость и в сотый раз начинает работу сызнава, приближаясь шаг за шагом к таящемуся в нем совершенству.

Я смотрю, как засыпает мой город, слушаю молкнувший шум, похожий на замирающее гуденье потревоженных цимбал, и мне кажется, что звенеть его заставило солнце, как заставляет оно звенеть летящих пчел, а вечер отяжеляет их, он закрывает цветы, запирает аромат, чтобы не вился больше тропкой в русле ветра. Я вижу, меркнут мои угольки, подергиваются пеплом, укрыв свое достояние – кто зерно в амбаре, кто детей, игравших на пороге, кто собаку, осла, кто стариковский табурет...

Город мой затихает, словно огонь, дремлющий под пеплом, и все размышления, молитвы, намеренья, рвение, страхи, сердечные желания, да и нет, нерешенные вопросы, ждущие разрешения, ненависть, ожидающая зари, чтобы начать убивать, самолюбивые притязания, ослепшие в темноте, мольбы, обращенные к Господу, оставлены и не нужны, словно лестницы в закрытом магазине, все отложено, все кажется мертвым, но родовое наследство, никому не нужное сейчас, не уничтожено, оно сохраняется, и солнце, разбудив улей, оделит им каждого, и разберут: кто – свои поиски, кто – счастье, кто – горе, ненависть или гордыню, и когда мои пчелы вновь устремятся к своему чертополоху и своим лилиям, я задумаюсь: «Что же они такое, эти люди – хранилища множества картин?»

Я знаю: если бы мне повелели воспитать, научить и наполнить тысячью разноречивых биений еще неодушевленного человека, то язык как средство сообщения был бы для меня мостком слишком узким.

Да, мы способны что-то сообщить, но наши книги хранят лишь ничтожную часть общеродового наследия. Если я соберу детей, устройю кучу малу и буду каждого учить чему попало, я пушу на ветер немалую часть нашего наследства. Дурная участь ждет и мое войско, если я не буду поддерживать в нем преемственность поколений и не сделаю его династией без смутных времен. Конечно, капралы всегда будут обучать новобранцев. Конечно, новобранцы всегда будут подчиняться генералам. Но слова капралов и генералов слишком малы, чтобы передать весь необъятный накопленный жизнью опыт, не сводимый ни к одной из формул. Невозможно передать полноту понятия словом или книгой. Ведь каждая жизнь определена внутренними пристрастиями, особенностями восприятия, нежеланиями, образом мыслей, способом действий... Но если бы я попробовал все это растолковать, то не осталось бы вообще ничего.

Моя любовь создала царство, но если я расскажу о козах, овцах, домах, горах, что от него останется? Сокровенное и сущностное передается не словом, а приобщением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди накопленное наследство. Но отторгните один-единственный раз одно поколение от другого, и любовь умрет. Если старшие в моем войске перестанут заботиться о младших, войско станет вывеской на нежилом доме, он рассыплется при первом же толчке. Если отнять у мельника сына, улетит душа мельницы, исчезнет уклад, усердие, тысяча неприметных умений и навыков, объяснить которые невозможно, но они существуют. В том, что существует, запрятано больше премудрости, чем может вместить слово. А вы требуете, чтобы люди перестроили мир только потому, что прочитали какую-то книжонку. В этой книжонке нет ничего, кроме умозрительных схем, пустых и неплодотворных по сравне-

нию с живым опытом жизни. Человек показался вам нехитро устроенной беспамятной скотинкой, но вы позабыли, что человечество живет подобно дереву, живет потому, что один человек важен для другого, узловатый ствол, ветки, листья – все это одно и то же дерево. Вот оно, мое огромное дерево, и откуда мне знать, что такое смерть? Я смотрю с холма на мой город: там и здесь слетает листок, там и здесь набухает почка, но густота кроны неизменна. Частные неблагополучия не вредят живоносной сердцевине: смотри – храм продолжает строиться, житница одарять и наполняться, песня украшаться, а родник сверкать все ярче. Но вот ты порвал связь времен, отторг одно поколение от другого, ты захотел, чтобы зрелый человек стал бессмысленным младенцем, забыл все, что узнал, постиг, перечувствовал, чего хотел и чего опасался; ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу, – в людях осталось только то, что годится для схемы. Слова искажают, чтобы вместить, упрощают, чтобы передать, и убивают, чтобы понять, – твоих людей перестала питать жизнь.

И я напоминаю: чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей и в их распоряжении будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания, плодоносному дереву можно привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что будет поставлять им призвание.

Еще и еще раз мне показали: логика убивает жизнь. И сама по себе она пуста...

Любители формул и схем не знают человеческой сущности. Они спутали плоскую тень и объемное золотисто-коричневое дерево с раскидистой смолистой кроной, полной птиц, – ветер слов слаб, ему не выдюжить тяжести кедра. Они спутали обозначение явления с самим явлением.

И я понял, не нужно и вредно избегать противоречий. И сообщил об этом генералам, которые пришли поговорить со мной о порядке, но спутали силу, которая все расставляет по местам, с упорядоченностью музея.

Дерево для меня и есть порядок. Порядок дерева – это целостность и единство, торжествующие над дробностью и разнородностью. На одной его ветке – гнездо, на другой – нет. Одна ветка тянется к небу, другая клонится к земле. Но мои генералы в рабстве у картинок из военных журналов, и порядок для них – единообразие. Если я дам им волю и позволю упорядочить святыне книги, где явлен порядок Господней мудрости, они начнут с букв, ведь и ребенку ясно, что они перемешались... В одно место они соберут все «А», потом все «Б», потом все «В», и книга наконец будет упорядочена. Специальная книга для генералов.

Генералам невмоготу терпеть то, что никак не укладывается в формулу, что еще в пути, что вступило в противоречие с какой-нибудь из общеизвестных истин. Откуда им знать, что слова только обозначают, но не передают суть, поэтому словесные истины могут противоречить друг другу? Какое противоречие, если я скажу «лес» и скажу «царство»? Хотя леса могут быть разбросаны по многим царствам и нет царства, целиком покрытого лесом, хотя у меня в царстве может быть множество лесов и ни одного, который целиком помещался бы в моем. Но мои генералы, если уж они взялись славить царство, то будут рубить головы поэтам, которые славят лес.

Одно дело – противостоять и другое – противоречить. Жизнь – единственная истина для меня, и я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира. Дробность сама по себе не занимает меня. Мой порядок – это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок. Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что язык – это тоже жизнь. Нельзя отказываться от чего бы то ни было ради порядка. Можно отказаться от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги, – порядок будет безупречным. Можно

заставить мой народ жить по законам муравейника, и опять будет безупречным порядок. Но по нраву ли мне муравьи? Я люблю человека, одухотворенного животворящими божествами, которые я взрастил в нем, чтобы он тратил себя и свою жизнь на большее, чем он сам: на дом, родину, Господне царство. Так зачем мне мешать людям спорить, раз я знаю: успех рождается множеством безуспешных усилий. Раз я знаю: человека растит творчество, а не воспроизведение готового. Воспроизведение по образцам губительно для живого. Даже корабль нужно изменить и расширить, если плыть ему по жизни дальше. Уцепившись за неизменность формы, создаешь экспонаты для музея, цепляешься за смерть, за рутину. Я различаю: вот преемственность, а вот повторение. Вот устойчивость, а вот косность. Косность не служит крепости кедра, крепости царства. «Ну наконец-то! – обрадовались генералы. – Мы обрели истину, и она останется незыблемой». А я? Я ненавижу оседлых и обывателей. Завершенный город – некрополь.

XXIII

Плохо, если сердце возобладало над душой. Плохо, если чувство возобладало над духом. Вглядываясь в мое царство, я понял: легко объединяет людей не дух, а чувство, но дух выше чувства. Значит, дух должен сделаться чувством, но совсем не потому, что чувство важнее. Поэтому-то и нельзя, чтобы художник был в подчинении у народа. Творчество должно открыть народу, чего ему желать. Он должен вкусить от духа и полученное сделать чувством. Народ – желудок, полученную пищу он должен переработать в свет и благодать.

Соседний государь создал царство, выносив его в своем сердце. Народ его стал величальной песней созданному царству. Но этот народ не доверял одиноким, боялся горных троп, вьющихся, словно плащ пророка, бесед со звездами и их ледяных вопросов, тишины и голоса, звучащего и молчащего в тишине. Тот, кто в одиночестве поднялся на горную вершину, вернулся, причастившись Божественной пищи. Он спустился спокойный и величавый, пряча неведомый мед под своим плащом. Мед приносит лишь тот, кто уединился. И мед его всегда горек. Новое плодоносное слово всегда горько, ибо, повторяю, нет радостных перерождений. Я ращу вас и, значит, словно нож из ножен, извлекаю из собственной кожи, чтобы нарастить, как на змее, новую. Только так из припевки родится псалом, от искры займется лес.

Но человек, отвернувшийся от псалма, но народ, запретивший одному из себе подобных быть свободным и подниматься в горы, убивает дух. Тишина – единственный простор, где дух расправляет крылья.

XXIV

Я размышлял о тех, кто использует, ничего не давая взамен. Вот государственный муж, он лжет, хотя власть его держится на доверии к сказанному. Благодаря доверию его слово действительно. Благодаря доверию действительна его ложь. Но, воспользовавшись моим оружием так, я притупил его. Сегодня я победил противника ложью, но завтра у меня не найдется против него оружия.

Вот стихотворец, он прославился, сломав общепринятые правила синтаксиса. Шоковый эффект часто ведет к успеху. Но он – браконьер, из личной выгоды он разбил сосуд с общим достоянием. Ради самовыражения не пощадил возможности выражать себя каждому. Желая посветить себе, поджег лес и всем остальным оставил пепел. Нарушения войдут в привычку, я никого больше не изумлю неожиданностью. Но мне уже не воспользоваться благородной красотой утраченного стиля. Я сам обессмыслил его фигуры, прищур, умолчания, намеки – всю гамму условных знаков, которую так долго и так тщательно отработывали, научившись говорить с их помощью о самом тайном, самом сокровенном.

Я выразил себя тем, что сломал инструмент для самовыражения. Инструмент, который принадлежал всем.

Не люблю издевок, насмеваются всегда циники. Нами правит правитель, мы относимся к нему почтительно, но, издеваясь, я сравнил его с ослом и поразил всех своей дерзостью. Со временем осел сольется с правителем, такая очевидность совсем не смешна. Я разрушил иерархию, возможность подняться вверх, полезное честолюбие, представление о величии. Я растратил капитал, которым пользовался. Ограбил житницу и зерна пустил на ветер. Я использовал величие правителя в своих целях и разрушил то, что создавали другие. Вот в чем мое предательство, мое преступление. Мне предоставили возможность выразить себя. Я выразил себя тем, что уничтожил все возможности. И предал всех.

Поэт, который жестоко работает над собой, желая воспользоваться накопленным наследством, совершенствует инструмент, пользуясь им. Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тяжесть ее и горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу.

XXV

Вот почему я созвал всех воспитателей и сказал им:

– Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота – счастье людей. Кто из людей будет счастлив – вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки – скотское довольство – мне не интересно.

Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их образами и картинками, на которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать.

Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию – вот главное мерило.

Не учите их, что польза – главное. Главное – возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску.

Научите их почтению, потому что насмехаться любят циники, для них не существует целостной картины.

Боритесь против жадности к вещам. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не тратит себя, он закостенеет.

Научите их размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе – противоположность любви.

Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и на первый взгляд в помощь царству. Но силу рождает только верность. Нельзя быть верным одним и неверным другим. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать того, с кем вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье.

Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело – это путь к Господу и завершает его только смерть.

Не учите их, что главное – прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели обернутся потаканием нечисти и гниению. Научите их благому сотрудничеству – общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к каменотесу с разбитой коленкой. Потому что речь идет об исправности повозки. Вожатый у них один.

XXVI

Я задумался о великом таинстве перерождения и изменения самого себя. Жил когда-то в нашем городе прокаженный.

– Я хочу показать тебе бездну, – сказал отец.

И он повел меня на окраину, где за домами виднелся голый замусоренный пустырь. Маленький домишко стоял посреди пустыря за забором, отгородившим прокаженного от остального мира.

– Ты, верно, думаешь, что он в отчаянии? Присмотрись, он сидит на пороге и зевает. В нем умерла любовь, только и всего. Его сгноило изгойство, всего-навсего. Запомни, изгойство не терзает болью, оно изнашивает тебя день за днем. В изгнании питаются снами и в кости играют понарошку. Да, он сыт, но что толку в сытости? Он – король царства теней.

Наше спасение в необходимости, – продолжал отец. – Что за игра в кости без денег? Что за жизнь в мечтах? Мечты не приносят счастья, они слишком податливы. Как безнадежен рой мечтаний, заполняющий пустоты юности. На пользу каждому все, что сопротивляется и противится. Не болезнь беда прокаженного – податливость жизни. У него нет необходимости идти, он осел у своей кормушки.

Горожане приходили поглядеть на него. Окружив забор, они затаивали дыхание, словно заглядывали после тяжелого подъема в кратер вулкана. Они бледнели, словно уже слышали грозный гул в глубине земли. Жизнь за забором казалась им исполненной тайны. Но тайны в ней не было.

– Не тешь себя иллюзиями, – сказал отец, – не выдумывай прокаженному бессонных ночей, отчаяния и рук, заломленных в бессильной ярости против самого себя, Господа и всех людей на свете. Он – неучастие, и с каждым днем он от нас все дальше и дальше. Что связывает его с людьми? Глаза ему затянула пелена гноя, бессильные руки повисли плетью. Городской шум для него – шум проезжающей неведомо где телеги. Жизнь – не слишком понятное зрелище. А что такое зрелище, спектакль? Пустяк, он ничего не стоит. Живит только то, что переделывает тебя. Нельзя жить, превратившись в склад с мертвым грузом. Мог бы жить и прокаженный, подвози он на лошади камни для постройки храма. Но нет, этого снабдили всем.

Со временем вошло в обычай навещать прокаженного каждый день, сострадать ему и через забор, отгородивший его от мира, перекидывать ему приношения. Он стал божком, ему служили, его украшали и одевали, кормили лучшими яствами. В праздник чествовали музыкой. И все же он оставался нищим. Он нуждался во всех и не был нужен никому. Ему давали все, но ему отдать было нечего.

– Ты видел деревянных идолов, – сказал отец, – они тоже обвешаны дарами. Перед ними возжигают свечи, им кадят дымом жертвоприношений, украшают драгоценностями. Но поверь, преображаются и растут люди, жертвуя своему божеству золотые браслеты, драгоценные камни, – деревянный идол пребывает деревом. Он не может переродиться. Дерево живет, преобразая землю в цветы.

Я смотрел на прокаженного, он вышел из лачуги и обвел толпу незрячим, тусклым взглядом. Говор собравшейся толпы мог бы польстить ему, но для него он значил не больше дальнего шума волн. Он был для нас недостижим. Нас ничто не связывало друг с другом. И если кто-то в толпе громко жалел его, взгляд прокаженного туманился презрением... Изгой. Его воротило от игры, где все понарошку. Что за жалость, если не берут на руки и не баюкают? Ведь для нас как живой, настоящий он не существовал. И когда вдруг в нем просыпалось что-то древнее, инстинктивное, когда он вдруг загорался яростью, не желая больше служить ярма-

рочной забавой, – яростью, по существу поверхностной, ибо мы не были частью его жизни, а чем-то вроде детей у пруда, где едва шевелится одинокий карп, – ярость его не задевала нас. Ярость, неспособная нанести удар, швыряющая на ветер пустоту слов. Мне показалось: взяв на себя его пропитание, мы ограбили его.

Я вспомнил прокаженных Юга, они взирали на оазисы с высоты своего коня, с которого, по закону о проказе, не имели права спешиться. Они опускали вниз палку с плоской и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом: счастливое лицо для них – лишняя возможность удачной охоты. Да и чем могло досадить им чужое счастье? Чуждое и далекое, вроде незаметной возни полевок на лугу. Вот они и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом. Тихим шагом подъезжали к лавчонке, опускали на веревке корзину и терпеливо ждали, пока лавочник наполнит ее. Не по себе становилось от их тяжелого равнодушного терпенья. Неподвижно стояли они вдоль нашей улицы и были для нас лишь пристанищем страшной болезни, жадной, прожорливой печью, сжигающей человеческую плоть. Они были для нас тем, что стараешься миновать, – заброшенным пустырем, обителью зла. Но чего ждали они сами? Ничего. Ждут ведь не от себя, ждут от иного, чем ты. И чем скуднее твой язык, тем грубее и проще твоя связь с людьми, тем меньше знакомы тебе скука и томление ожидания.

Так чего они могли ждать от нас, эти люди, ничем не связанные с нами? Они ничего от нас и не ждали.

– Смотри, – сказал мне отец, – он больше не зевает. Он разучился скучать, скука – тоже тоска по людям.

XXVII

Я понял, что все несчастны. Ночь – вот корабль, на который Господь посадил всех странников, не дав им кормчего. И я решил объединить людей. Но сперва решил понять, что же такое счастье.

Я ударил в колокол. «Приходите ко мне, счастливые», – позвал я. Счастливый подобен зрелому плоду, источающему сок и сладость. Я видел – женщины, наклонившись вперед, прижимают руки к груди, боясь расплескать полноту счастья. И пришли счастливые и встали по правую мою руку.

«Придите, несчастные!» – позвал я и ударил в колокол для несчастных. «Встаньте от меня по левую руку», – сказал я им.

И, разделив всех, я задумался: «Что же такое несчастье?»

Я не верю в арифметику. Не перемножишь горе на радость. Если среди моего народа страдает один-единственный человек, мука его так велика, как если бы мучился весь народ. Плохо и то, что, мучаясь, человек забывает о царстве.

А радость? Когда замуж выходит принцесса, танцует и пляшет весь народ. Дерево потратило себя, и распустился бутон. Дерево – это каждая из его веточек, по ним я и сужу о дереве.

XXVIII

Слишком просторным показалось мне одиночество. Тишины и неспешности искал я для моего народа. И вот напился простором души и горней тоской до горечи. А внизу я видел огни вечернего города. Город звал сбиться всех потеснее, запереть двери, прижаться друг к другу. Так все и поступали, а я – я смотрел, как одно за другим гаснут окна, и за каждым из них угадывал любовь. А потом тоску и разочарование, если любовь не становилась большим, чем просто любовь...

Свет в окне говорил о болезни. Два-три неизлечимо больных – негасимые свечи в ночи. А вот и еще одна мерцающая внизу звездочка – кто-то творит, единоборствуя с неподатливой глиной, он не уснет, пока не вплетет в венок еще одного бессмертника. Несколько окон зажжены безнадежной мукой ожидания. Господь и сегодня собрал свою жатву, кому-то никогда уже не возвратиться домой.

Но были в моем городе и те, кто не спал и бдением своим противостоял опасностям ночи, как бдит дозорный в открытом море. «Это блюстители, – сказал я, – они блюдут жизнь перед лицом непроницаемой стихии. Они на переднем крае, на пограничье. Нас мало, бдящих в ночи над спящими, с нами беседуют звезды. Нас мало стойких, мы положились на произвол Господень. Нас мало среди мирных городских жителей, на наших плечах тяжесть города, нас обжигает ветер, упавший со звезд, словно ледяной плащ».

Капитаны, друзья мои, тяжка необъятная ночь. Спящим неведомо, что жизнь – это нескончаемые перемены, напряжение до стога древесины и мука перерождения. Нас мало, мы за всех несем общий груз, мы на пограничье, нас обожгла боль, и мы выгребаем к восходу, мы дозорные на вахте, застывшие в ожидании ответа на немой вопрос, мы из тех, кто не устает верить, что любимая возвратится...

И я понял, что усердие и тоска сродни друг другу. Их питает одно и то же. Бескрайность – их пространство, бесконечность времени – их пища.

– Пусть бдят со мной лишь тоскующие и усердные, – сказал я. – Остальные пусть спят. Они трудятся днем, и не их призвание – пограничье...

Но этой ночью город не спал, он лишился сна из-за человека, который на заре искупит смертью свое преступление. Город верил, что он невиновен. Улицы обходила стража, следя, чтобы люди не собирались вместе, но людей будто что-то выталкивало из дома и притягивало друг к другу как магнит.

А я? Я думал: «Один мученик разжег пожар. Тюремный узник реет над целым городом, словно знамя».

И мне захотелось посмотреть на него. Я направился к тюрьме – глухим квадратом чернела она на звездном небе. Стражники отомкнули мне ворота, и, заскрипев, они медленно повернулись на петлях. Толстые стены, зарешеченные окна – тяжело от них. Черные стражники сторожили дворы и коридоры, возникая на моем пути, словно ночные хищные птицы... Всюду спертый воздух, всюду глухое эхо подземелья, вторящее шагам по плитам, звону оброчного ключа. Я подумал: «Для чего воздвигать эту громадину, стремясь придавить человека, он так слаб, так уязвим – гвоздя довольно, чтобы лишить его жизни. Неужели же преступник так опасен?»

Все ноги, чьи шаги я слышал, топтали узника. Все стены, все двери, все столбы давили на него. «Он – душа тюрьмы, – сказал я себе, размышляя об узнике. – Он ее смысл, суть и оправдание. И он же – кучка тряпья, сваленная за решеткой, возможно, он спит и похрапывает во сне. Но каким бы он ни был, он взбудоражил весь город. Вот он отвернулся от одной стены, повернулся к другой, и произошло землетрясение».

Мне приоткрыли глазок, я стал смотреть на узника. Я знал, что мне есть над чем поразмыслить. Я долго смотрел на него, пока наконец его не увидел. А увидев, подумал: «Наверное, ему не в чем себя упрекнуть, кроме как в своей любви к людям. Но каждый зодчий строит свою крепость по-своему. Все способы хороши. Но не все вместе. Потому что тогда не построить крепости».

Лицо, изваянное в мраморе, отвергло множество других возможностей. Каждая была прекрасна. Но не все вместе. Я не сомневаюсь, мечта узника была не хуже моей.

Он и я – на вершине горы. Я один, и он тоже. Этой ночью мы поднялись с ним на вершину мира. Встретились, сошлись. Что делить нам на такой высоте? Как и мне, ему нужна только справедливость. Но умрет все-таки он.

Мне стало больно.

Прежде чем желание станет деянием, дерево – веткой, женщина – матерью, будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью выбора. В красавицу влюблены многие. Послушная жизни, она выберет одного и остальных обречет на отчаяние. Сущему не до справедливости. И я понял – творчество прежде всего жестоко.

* * *

Я затворил дверь и долго шел коридорами. Меня переполняли восхищение и любовь. На что ему жизнь раба, когда он велик гордыней?

Я проходил мимо стражников, подметальщиков, все они верно служили своему узнику. Толстые стены берегли его и были похожи на руины замка, они что-то значили лишь благодаря спрятанному в них сокровищу. Я еще раз обернулся и посмотрел на тюрьму.

Башня в зубчатой короне тянулась к звездам – сторожевой корабль шел с важным грузом... «Куда он его везет?» – спросил я у самого себя. А потом, когда я уже был далеко, раздался ружейный залп в ночи...

Я подумал о своих горожанах: «Они будут плакать о нем».

«Хорошо, что они будут плакать», – подумал я.

Я вспомнил, о чем поет мой народ, на что ропщет, о чем думает. Они похоронят его. И не похоронят. Опущенное в землю дает всходы. Не мне противостоять жизни, и однажды он окажется правее меня. Я обрек его на позорную казнь. Придет день, я услышу, как воспевают его смерть. Песню полюбит ищущий путь к тому, что мной отвергнуто. А я? Куда иду я?

Я иду к иерархии, но не такой, какая сложилась, – к иной. Благо покоя я хочу отличать от омертвения. Стремясь к покою, не хочу расправляться с противоречиями. Я должен вобрать их. Зная при этом, что одна сторона хороша, другая – нет. Не терплю, когда плохое и хорошее смешивают в одну кучу, сладкой кашкой питаются слабаки, поддерживая свое бессилие. Я принял моего врага, чтобы стать больше и сильнее его.

XXIX

Я задумался, разглядывая маску плясуньи, – ее лицо своенравной балованной упрямицы. «Во времена величия царства, – подумал я, – она выбрала себе такую маску. Теперь эта маска – крышка пустой коробки. В человеке исчезла страсть. Исчезли и пристрастия. Никто не хочет выстрадать своего. А если своего не выстрадать, то откуда ему взяться?»

Человек желал добиться. Добился. Но стал ли он счастливее? Счастье в служении желанному. Смотри, стебель трудится над цветком. Счастлив ли он, когда цветок распустился? Нет, наступил конец работы, растение приготовилось умереть.

Я знаю, что такое хотеть. Жажда дела. Желать достигнуть, преуспеть. И отдохнуть. Но кто жив отдыхом? Отдых не питает нас. Не перепутайте: питающая среда и достигнутая цель – разное. Бегун бежал быстрее всех. Он победил. Но не получится жить победой. Не может моряк жить побежденной бурей. Побежденная буря – взмах руки в долгом-предолгом плавании. Следующий взмах неминуем. Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм не похожа на радость сорвать цветок, вспоминать о буре, любоваться храмом. Надежда, что в старости насладишься тем, в чем отказывал себе всю жизнь, – иллюзия. Напрасно надеется воин, что в радость ему будет жизнь обывателя. Хотя на первый взгляд кажется, что воюет он за возможность им стать. Но вот он стал обывателем, и тоскует, и снова не прав.

Не прав тот, кто, тоскуя, твердит: «Человеческие желания неутолимы»... Он просто не знает, чего хочет. «Я иду по следам своего счастья, а оно никак не дается в руки», – жалуется он. Могло бы пожаловаться и дерево: как я трудилось над цветком, зачем он засох и стал семечком, которое зачем-то станет деревом, а на нем будут еще какие-то цветы?! Одолев бурю, ты отдыхаешь, но, пока ты отдыхаешь, собирается новая буря.

Я повторяю: у Бога нет отпусков, Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть? Бытие – это Бог. Он вернет тебя в Свою житницу только после того, как ты мало-помалу сбудишься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно.

Скудеют те, кто поверил, будто чего-то добился, будто чем-то владеет, кто встал посреди дороги, желая наслаждаться полученным – или достигнутым, как принято говорить. Нет достигнутого, нет полученного, нет запаса, который можно тратить. Об этом знаю я, – я, который не раз позволял завлечь себя в женские сети и вдруг узнал, что в чужедальних краях живет красавица, источающая аромат совершенства, и она может стать моей. Опыянение восторга я счел любовью. Мне показалось, что я умру, если она не станет моей.

Пышно и радостно праздновалась свадьба, всех в моем царстве словно бы закружил хмель любви. Цветы рассыпали корзинами, курили драгоценные благовония, не жалели сверкающих бриллиантов; цена им – людские пот, страдание и кровь; множество роз губится ради капли масла, множество людей губится ради капли света, – но кто сейчас вспоминал об этом: каждый расточал себя в любви. И вот моя нежная пленница, принесенная ветром любви на парусах своих покрывал, рядом со мной на террасе. Я – мужчина, я – воин, я – победитель держу наконец долгожданную награду в этой войне. Но, оказавшись с ней рядом, не знаю, что делать...

– Голубка моя, горлица, – шепчу я, – длинноногая газель... – Я придумываю слова, чтобы дотянуться до нее, и не нахожу слов. Ее все меньше, она тает, будто утренний снег. Я ждал себе другого подарка. Я кричу: «Где вы?» Потому что никак не могу ее найти. «Как мне выйти хотя бы на пограничье?» Я превратился в дозорную башню, в крепостной вал. Мой город славил любовь фейерверками. А я, одинокий в своей иссушающей пустыне, смотрел на нее – обнаженную, спящую. «Я охотился не на ту дичь, шел не в ту сторону. Она бежала так быстро, я схватил ее, желая сделать своей... Держу, но со мной ее нет...» И я понял, что я ошибся.

Думал жить, одержав победу в беге. Стал похож на безумца, который запирает кувшин с водой в шкаф, потому что любит журчанье родника...

Я не прикасаюсь к тебе, я творю тебя, словно храм. Творю в сиянии света. Твоя тишина одевает поля, леса. Я учусь любить тебя больше, чем люблю тебя, себя. Я пою хвалебный гимн твоему царству. Ты закрыла глаза – глаза мира. Ты устала, я держу тебя в кольце своих рук, словно город. Ты – ступень на пути моем к Господу. Тебя создали, чтобы воспламенять, испепелять, – не для того, чтобы сберегать впрок... Прошло несколько дней, город облачился в траур, в моем дворце все рыдали, потому что я с тысячью воинов вышел из городских ворот; я шел в пустыню, я томился, и жажда гнала меня туда.

Я уже говорил тебе об этом, боль одного – не меньше боли целого мира. И любовь одного – какой бы несуразной она ни была – раскачивает звезды Млечного Пути. Округлый корпус корабля обхватили мои руки, обнимая тебя. Мы выходим сегодня в открытое море, в грозную стихию любви...

Вот так, мало-помалу, я нащупываю границы моего царства. Ограничения всегда говорят о сути, и я люблю то, что умеет противостоять. Противостоят и человек, и дерево. Барельефы, изображающие своенравных плясуней, я сравнил с крышками пустых коробок, но когда-то они были масками, а под маской и впрямь таилось упрямство, коварство и поэзия строптивых капризниц. Я люблю выявляющих себя в противостоянии, люблю замкнутых и молчаливых, укрепляющих свою твердость, тех, кто сжимает зубы под пыткой, кто выдерживает пытку любви. Тех, кто несправедливо предпочитает вообще не любить. Вас, уподобляющих себя грозным башням, которые невозможно взять приступом...

Ненавижу податливость. Нет человека, если он не противостоит. Нет противостояния в муравейнике, нет в нем и Бога, нет образа и подобия Божия. Податливый человек – человек, в котором нет всхожести. И я вспомнил чудо, увиденное мной в тюрьме. Слабый узник был сильнее тебя, меня, нас всех, вместе взятых, сильнее моих тюремщиков, подъемных мостов, стен. Та же загадка мучила меня и тогда, когда я размышлял о любви, держа ее в своих объятиях, обнаженную и покорную. Мне трудно сладить с тем, что человек одновременно велик и ничтожен, велик своей верой, ничтожен гордыней бунта.

XXX

И еще я понял: человек без стержня, без внутренней формы – ничто. Если он слился с толпой, послушен ей, живет по ее законам, он никогда не пожертвует собой, не воспротивится соблазну, не смирится со смертью. Вепрь, слон и человек на вершине горы сродни друг другу. Люди не вправе посягать на тишину в человеке, не вправе из ненависти к одиноким лишать его вершины горы, где он вырастет, подобно кедр.

Он пришел ко мне, он уверен, что логикой можно исчерпать человека. Он показался мне ребенком. С совком и ведерком подошел малыш к Атласским горам в безмятежной уверенности, что возьмет их и передвинет. Человек – прежде всего то, что есть, а не то, что он о себе знает. Да, сознание стремится узнать и выразить то, что существует, но путь его труден, медленен, извилист. Не стоит забывать: существует и то, чего мы не можем выразить, оно тоже есть. А выражаем мы только то, что сумели постигнуть. Как мало умею я выразить о человеке. Открывшееся мне сегодня существовало и вчера, я солгал бы себе, сказав: «То, чего я передать не в силах, не стоит и внимания». Гору я тоже только назвал. Я путаю понятия «назвать» и «выразить». Называют для знающего. Но если человек не видел гор, как передать ему ущелья, камнепады, лавандовые склоны, уступчатый силуэт на звездном небе?

Знать не означает получить во владение обломки славной крепости или легкий челнок, который можно отвязать от причала и повести куда угодно; знание – та же жизнь, в нем есть неожиданные откровения, есть свои законы внутреннего тяготения, есть свое безмолвие, столь же многозначительное, как безмолвие небесных сфер.

И вот я в разладе с самим собой: меня радует послушливость человека и его непокорство, свидетельствующее о крепости нутра. Вечно противоречащая самой себе суть мне понятна, но ее не уложить в формулу. Взять, к примеру, моих воинов, они послушны, их вымуштровала суровая дисциплина, по взмаху моей руки они пойдут на смерть, повиновение вошло у них в плоть и кровь, я могу отругать их и ими распорядиться, словно малыми детьми... но в неожиданной схватке с врагом они будут тверже стали, благородны в ярости и мужественны в смерти.

Я понял: твердость и послушание – две стороны одной медали. «Твердый орешек», – говорим мы с одобрением об одном, «сама себе хозяйка» – о другой, – я обнял ее, но она была далека от меня, словно яхта на морском горизонте, – их я и называю людьми: они не торгуются, не вступают в сделки, не подлаживаются, не идут на компромиссы, не предаются из корысти, сладострастия, усталости, сердце их тверже оливковой косточки. Я могу стереть их в порошок, но не выдавлю масла тайны, и я не позволю тирану или толпе властвовать над их алмазными сердцами, потому что именно такие люди и бывают по-настоящему послушны. Именно они бывают кроткими, дисциплинированными, почтительными, они способны на веру и на жертву, став покорными сыновьями глубинной мудрости, став хранителями добродетели...

А те, кого принято называть свободными, кто решает все по-своему и всегда одинок от неумения слушать и слушаться, лишаются попутного ветра в парусах. Их вечное несогласие – бестолковый каприз, не более.

Поэтому я, ненавистник покорной скотины, человека без нутра и сердечной родины, я – правитель, я – мастер, не желающий кастрировать свой народ и превращать его в слепых исполнительных муравьев, – вижу: мое принуждение не калечит – оно служит духу жизни. Смирение в храме, послушание и готовность прийти на помощь – добродетели, нелюбимые лицедеями, но для моего царства добродетели эти – краугольный камень. Много ли хорошего дождешься от самого себя? Положиться можно лишь на общее дело, где каждый в помощь благодаря другому.

Я ошибусь, если назову строптивцем моего узника. Его сдавили крепостные стены, за ним следит стража, но он молчит под пытками или отвечает моим палачам презрительной

усмешкой. Сильным его сделала вера, но он верит в другое, чем я. Его жестокость – обратная сторона любви и мягкости. Я вижу моего узника и другим тоже: сложив на коленях руки, он сидит и слушает с ясной улыбкой, он приник к благодатному роднику. Вот та, которую я сделал пленницей моего замка, – она бродит по террасе, и горизонт ей кажется решеткой клетки – невозможно приручить ее, принудить к словам любви. Она другого племени, другой страны, в ней иной огонь, иная вера. Не обратив ее в свою, мне ее не дозваться.

Больше всех я ненавижу отказавшихся быть. Они сродни шакалам, но думают, что свободны, потому что свободно меняют мнения и предают. (Откуда им знать о предательстве? Они сами себе судьи...) Им свободно лукавить, передергивать, оговаривать; и если они голодны, то свободно переметнутся ко мне, стоит мне указать им на кормушку.

Была свадебная ночь, была ночь перед казнью. Благодаря им я ощутил, что значит быть. Потрудитесь же над собственной формой, станьте долговечным форштевнем, превратите в собственное тело то, что хочет вас износить, – так и только так поступает кедр. Я – контур, стержень, усилие творца, благодаря которым вы рождаетесь, но, родившись, вы должны, будто кедр, растить ветви – собственные, а не чужеродные, – свою хвою и свои листья, вы должны тянуться ввысь и укореняться...

Я зову негодяями тех, кто живет за счет чужих усилий, как хамелеон меняет цвет, любит похвалы и подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. Что они такое? Пустота.

Нет у них сокровищ; нет крепости, которая бы их хранила, нет весомых слов для детей, они не растили их – дети выросли, как трава под забором.

XXXI

Они пришли сказать мне, что для жизни нужны удобства.

А я? Я вспомнил своих воинов в пустыне. Я знаю, сколько тратится сил на достижение житейского благополучия, но, когда оно наступает, жизнь уходит.

Поэтому я любил войну, мир с ней так ощутимо сладок. Военный поход по безмятежно-тихой знойной пустыне, – пустыне, кишашей змеями, пустыне девственных песков, засад и укрытий.

Я вспомнил, как играют дети, они строят полки из белых камешков. «Это солдаты, – говорят они, – они спрятались в засаде». Но прохожий видит только кучку белой гальки, он не видит сокровищ, таящихся в детской душе. Вспомнил человека-жаворонка, он наслаждается зарей, под ледяным солнцем плещется в ледяной воде и греется потом в лучах разгорающегося дня.

А жаждущий? Он хочет пить, он идет к колодцу, скрипит ворот, гремит цепь, ползет вверх ведро, вот он вытянул полное ведро на край колодца, – вода для него стала песней, он запомнил все ее переливы. Благодаря жажде он ощутил крепость своих рук, ног, зоркость глаз, жажда возвысила его, словно поэзия. Другой подозвал раба, тот поднес к его губам воду, но песни он не слышал. Удобство – это чаще всего пустота и безмолвие. Люди не верят в необходимость напряжения и боли, поэтому и живут так безрадостно.

С пустотой встречаются и те, кто слушает музыку, не пожелав потратить усилий на музыкальную грамоту. Они повелели внести себя в музыку на носилках, не пожелав добраться до нее самостоятельно. Отказались от апельсина, потому что нужно очистить кожуру. Но я-то знаю: нет кожуры – нет и мякоти. Почему-то вам кажется счастьем несуществование. Вы не правы. Богачи не наслаждаются своим богатством, для них оно пропадает втуне. Нет пейзажа, если никто не вскарабкался в гору, пейзаж не зрелище, он – преодоление. Но если принести тебя на вершину на носилках, ты увидишь что-то туманное, невразумительное, да и почему, собственно, это должно для тебя что-то значить? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки и любит после трудного подъема открывшимся пейзажем, украшает сладостью отдохновения голубизну угасающего дня. Ему нравится композиция пейзажа, каждым своим шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвигал вдаль деревню. Он – автор этого пейзажа и рад, как ребенок, который выложил из камушков город и любит творением своих рук. Но попробуй заставь ребенка залюбоваться кучкой камней – зрелищем, доставшимся даром...

Я видел жаждущих – жажда сродни ревности, она мучительнее болезни: тело знает цельное снадобье и требует его, как требовало бы женщину, оно видит во сне, как другие приникли к воде. Ревнивцы тоже видят женщин, которые улыбаются не им. Неоплаченное душевно и телесно – не ощущается как значимое. Не существует случайности, если я не попал в случай. Из ночи в ночь смотрят на Млечный Путь мои астрологи. Благодаря ночам, проведенным в бдении, он стал для них книгой премудрости, страницы ее переворачиваются с едва слышным шелестом, и астрологов переполняет благоговейная любовь к Господу, насытившему Вселенную такой мучительно сладкой для сердца сущностью.

Повторяю вам: право не сделать усилие дается вам лишь ради другого усилия, потому что вы должны расти.

XXXII

Умер князь, он властвовал от меня на востоке. Князь, с которым мы так жестоко воевали и кто после множества войн стал мне надежной опорой. Я вспомнил, как мы встречались. В пустыне раскладывали пурпурный шатер, и мы – я и он – входили в его пустоту. Наши воины стояли поодаль – не годится, чтобы войска, смешавшись, сбились в толпу. Толпа – стадо, в ней никогда не будет благородства. Положившись про себя на мощь своих копий, воины ревниво следили за нами, не размякая от дешевого умиления. Тысячу раз прав был мой отец, повторяя: «Не суди о человеке по тому, что увидал на поверхности, встретись с ним в глубинах его души, ума, сердца. Если придавать значение каждому движению, сколько крови прольется понапрасну...»

В глубинах души искал я встречи с моим врагом, когда оба мы, безоружные, защищенные лишь своим одиночеством, входили в шатер и садились напротив друг друга на песок. Не знаю, кто из нас – он или я – был сильнее. В нашем священном одиночестве от силы требовалась сдержанность. Малейшее движение потрясло бы мир, и двигались мы с величайшей осторожностью. Спор у нас был тогда о пастбищах. «У меня двадцать пять тысяч голов скота, – сказал он, – скот гибнет. У тебя он бы прокормился». Но как пустить к себе целое воинство пастухов с чуждыми нам обычаями? Они посеют в моих людях сомнение, а сомнение – начало порчи. Как принять на своей земле пастухов из чужой вселенной?

Я ответил: «У меня двадцать пять тысяч человеческих детей, они должны научиться молиться по-нашему, иначе останутся без лица и стержня». Правоту каждого из нас отстаивало оружие. Как прилив и отлив, надвигались мы и отступали. Всей силой давили мы друг на друга, но никто не мог взять верх – от взаимных поражений сила наша сравнялась. «Ты победил – значит, сделал меня сильнее».

Нет, не было во мне презрительного высокомерия, когда я взирал на величие моего соседа. На висячие сады его столицы. На благовония, привозимые его купцами. На прекрасные кувшины его чеканщиков. На мощные его плотины. Презрительность – помощница неполноценных, только их истине мешают все остальные. Но мы из тех, кто знает, что истин на свете много, нас не унижает признание добротности чужой истины, хотя мне она все равно будет казаться заблуждением, но ни яблоня к виноградной лозе, ни пальма к кедру не относится с презрением. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество – сокровища, которые не должны расточиться.

– Если хочешь поговорить с соседом по существу, – говорил отец, – пришли ему ларчик с благовониями, пряности или спелый лимон, пусть в его доме запахнет твоим домом. Твой воинственный клич в горах – тоже подлинный разговор. И привезенное тебе послом объявление войны тоже. Посланника долго обучали, воспитывали, закаляли, он – твой противник, и он – твой друг. Ему чужд твой обиход, но вы встречаетесь как друзья там, где человек в долгу лишь перед самим собой, где он возвысился над ненавистью. Уважение врага – единственное чего-то стоит. Уважение друзей стоит чего-то только тогда, когда они отрешились от признательности, благодарности и прочей пошлости. Если ты отдаешь за друга жизнь, обойдись без дешевого умиления.

Я не солгу, сказав, что соседний князь был моим другом. Наши встречи были радостью. Я поставил слово «радость» и направил расхожее мнение по ложному следу. Радостью не для нас – для Господа. К Нему мы искали дорогу. Наши встречи замыкали ключом свод. Но сказать друг другу нам было нечего. Господь простит мне, что, когда он умер, я заплакал.

Кому, как не мне, знать о собственном несовершенстве. «Если я плачу, – думал я, – значит, я не очистился еще от своекорыстия». Я знаю, мой сосед узнал бы о моей смерти, как узнал бы, что на западе его земли уже ночь. На потрясенный моей смертью мир он смотрел бы,

как смотрят на спустившиеся сумерки. На гладь озера, потревоженную пловцом. «Господи, – сказал бы он своему Богу, – день сменяется ночью по Твоей воле. Что потерялось, если увязали снопы, если кончилось наше время? Я уже был». Он приобщил бы меня к своему неизблемому покою. Но я еще не чист, я еще не проникся вечностью. Я по-женски томлюсь легковесной тоской, видя, как от вечернего ветра вянут розы в моем живом саду. Вяну и я с увядающей розой. Я чувствую: я умираю вместе с ней.

Жизнь шла и шла, я хоронил моих полководцев, смещал министров, терял женщин. Позади, словно сотня змеиных выползков, сотня разных былых моих «я». Но неизменно, как неизменно возвращается солнце – мера и маятник дня, как возвращается лето – мера и равновесие года, – мои воины опять и опять, от встречи к встрече, от договора к новому договору, ставили в пустыне пустой шатер. И мы входили в него. Наша встреча была торжественным обрядом, улыбкой сурового пергамента, покоем перед смертным часом. Тишиной, творимой не человеком, а Господом.

И вот я остался один, один отвечаю за прошлое, и нет возле меня свидетеля, который видел, как я жил. Мои поступки, которые я не снисходил объяснять моему народу, понимал мой восточный сосед; томления мои и порывы, которые я никогда не выставлял напоказ, он постигал своей внутренней тишиной. Тяжесть долгов и обязанностей, которые угнетали меня и о которых не подозревал мой народ, веря, что я действую лишь по своему произволу, взвешивал мой сосед, не ведающий пустого сочувствия, почитая не меня, а то, что меня превосходит, и вот он уснул, одетый багрянницей пустыни, сочтя песок достойной для себя гробницей, замолчал, улыбаясь той печальной улыбкой, обращенной только к Господу, означающей согласие, что пора унести срезанный сноп, пора хранить под сомкнутыми веками пережитое. Как себялюбиво мое отчаяние! Как я слаб, если столько значения придаю своим жизненным перипетиям, а они так ничтожны, если меряю собой царство, а не растворился в нем, если чувствую, что жизнь моя, будто странствие, может кончиться на этой вершине.

Эта ночь, будто горный хребет, изменила течение моей жизни: медленно взбиралась она по склону вверх и вот заструилась вниз по противоположному склону. Все вокруг незнакомо. Я понял, что стал стариком: вокруг незнакомые лица, чужие люди, ко всем к ним я равнодушен так же, как к самому себе; за хребтом остались мои капитаны, мои женщины, мои враги и единственный, может быть, друг – я один в этом чуждом мире, заселенном чужими мне племенами.

И тогда я обрел новые силы. «Меня лишили последней кожи, – подумал я, – может быть, теперь я очищусь?» Не было во мне величия, раз я так почитал себя. Я одряб, и мне послали испытание. Размяк от дешевых сердечных сантиментов. Но я сумею возвыситься, я не оскорблю слезами величие друга. Он уже был. Пустыня покажется мне богаче, ибо в ней он мне улыбался. Все улыбки станут мне ближе благодаря его улыбке. Его улыбка обогатит все остальные. В каждом я увижу набросок человека, – никакому резчику не отделить его от целиковой породы, – но в породе я лучше разгляжу человеческое лицо, потому что одному человеку смотрел прямо в глаза.

Да, я начал спускаться с горы, но, народ мой, не пугайся, я связал оборванную нить. Плохо, что я так нуждался в человеческом. Рука, что лечила и сшивала меня, рассыпалась, но сшитое осталось. Я спускаюсь с горы, я встречаю овец, ягнят. Я глажу их. В мире я одинок перед ликом Господа, но погладил ягненка и ожил сердцем: не ягненок – уязвимость живого в нем напомнила мне о человеке, и я опять заодно с людьми.

Для моего друга я тоже нашел царство, нигде не царствовалось ему лучше, – царство смерти. Каждый год раскидывается шатер в пустыне, и мой народ молится. Воины опираются на заряженные ружья, кружат всадники, оберегая порядок в пустыне, они отсекут голову всякому, кто отважится проникнуть сюда. Я иду один. Приподымаю полотно шатра, вхожу и сажусь. На земле становится тихо.

XXXIII

Что ж, пусть ноют и ноют у меня кости и никакой лекарь не уймет мою боль, пусть я похож на дерево, которое подсек дровосек, и Господь скоро уберет меня с лица земли, как обветшавшую башню. Пусть я только вспоминаю, как просыпаются в двадцать лет: освеженные сном, готовые воспарить душой, – мне дано утешение: мою душу не огорчают вести тела, я не занят своими болями, они – мое личное, маленькое, ничего не значащее дело, они касаются только меня, историки не посвятят им и строчки в хрониках: кому интересно, что у меня шатался зуб и его выдернули, с моей стороны было бы низостью искать сочувствия.

Не жалость к себе, а гнев поднимается во мне, когда я чувствую боль. Трещины бегут по сосуду, содержимое неизменно.

Мне рассказали, когда моего соседа с востока разбил удар и половина его тела, заледнев, омертвела, когда ему повсюду сопутствовал этот сиамский близнец, разучившийся улыбаться, достоинство его не пострадало, напротив, несчастье послужило его величию. А тем, кто восхищался твердостью его духа, он не без презрительности отвечал: «Вы ошиблись, принимая меня за лавочника, для них поберегите свои восторги. Правитель, не властный в собственном теле, – смешной самозванец. Не потерю – чудесную радость высвобождения чувствую я».

Да-а, человеческая старость... Неудивительно, что я ничего не узнаю на противоположном склоне моей горы. Сердце мое переполнено утратой друга. Я смотрю на деревни глазами, сухими от горя, и жду, когда, будто прилив, увлажнит их любовь.

XXXIV

И вновь я смотрю на город, зажигающий в сумерках огни, светящийся приглушенным голубовато-белым светом горящих в домах окон. Смотрю на рисунок улиц. Смотрю на тишину, потому что город рождает тишину, и она достигает прибрежных скал.

Но, любуясь рисунком улиц и площадей, высящимися там и здесь храмами – житницами духа, темным кольцом холмов вокруг, я невольно думаю, что мой город, несмотря на ощутимость его присутствия, – высохшее дерево с подсеченным корнем, пустой амбар. Нет в нем общей жизни, что течет сама по себе и животворит каждого, нет общего сердца, питающего кровью каждую клеточку плоти, нет общей плоти, радующейся общему празднику и поющей один псалом. Здесь в чужих раковинах живут нахлебники, праздные в своих тюрьмах, не желающие трудиться со всеми вместе. Нет города, есть видимость, есть некрополь, не сомневающийся, что по-прежнему жив.

И я сказал себе: «Вот оно, дерево, что вот-вот засохнет. Яблоко, источенное червем. Мертвая черепаха в панцире». Я понял: мой город нуждается в животворящем соке. Ветви нужно приживить к питающему стволу. Житницы и амбары наполнить тишиной. Сделать это должен я. Больше некому любить людей.

XXXV

Я слышу музыку, а они не понимают ее. И опять я перед неразрешимым противоречием: если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места, если учить только понятному, они не получат ничего лишнего.

Можно ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет, и умертвить дерево, которое растет, трудясь над новым цветком, новым плодом, но получить взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе. Можно, напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевеливать, понуждать забыть тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведешь вперед стадо нищих переселенцев без роду и племени, войско в походе, которое умеет быстро раскинуть лагерь, но никогда не построит дом.

Всякое восхождение мучительно. Преображение болезненно. Не измучившись, мне не услышать музыки. Страдания, усилия помогают музыке зазвучать. Я не верю в тех, кто наслаждается чужим медом. Не верю, что одаришь детей благодатным хмелем любви, послушав с ними концерт, прочитав стихи, поговорив. Да, конечно, в человеке заложена способность любить, но заложена и способность страдать. И скучать. И погружаться в безнадежную тоску, сродни осенним дождям. Ведь и умеющим наслаждаться поэзией стихи не всегда в радость, иначе бы они никогда не грустили, они бы читали стихи и ликовали. Все человечество читало бы стихи и ликовало, и больше ему ничего не было бы нужно. Но в радость человеку только то, над чем он хорошенько потрудился, – так уж он устроен.

Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до нее и ее преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем, так же быстро, как открывшийся с вершины пейзаж. Усталость и желание отдохнуть придали ему столько прелести, но вот ты отдохнул, тебе хочется идти дальше, и ты зевнул, глядя на пейзаж, которому больше нечего тебе предложить.

Чужие стихи – тоже плод твоих усилий, твое внутреннее восхождение. Запасы радуют обывателя, но обыватель – недочеловек. Нет любви про запас, которую можно было тратить себе и тратить, любовь – труд сердца.

Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как в театре, и говорят: «Вокруг – сплошной хаос. Он недостойн того, чтобы служить ему и подчиняться». Они верят в свой здравый смысл, они скептики и насмешники, но издевка в помощь бездельнику – не человеку. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность не подарок от прелестного пейзажа, любовь – итог преодоленной тобой высоты. Ты превозмог гору и живешь теперь в небесах.

Любовь – то же восхождение. Не думай, что достаточно знать о любви, чтобы ее узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен; краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца, он ищет великую страсть, которая зажжет его на всю жизнь. Но скуден его дух, мал приговор, на который он взбирается, жалка победа, так откуда взяться великой страсти?

Если не изменяться день ото дня, словно в материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песней – ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было бы выбросить тебя.

Логик и неверы просят: «Покажи нам царство, покажи нам Бога, вот я трогаю камень, трогаю землю и тогда верю, что есть и земля, и камень, которые я потрогал». Но что мне до их просьб. Тайнства, о которых я говорю, не так скудны, что их можно исчерпать логической формулой. Не могу я доставить невера на вершину горы и подарить ему радость открывшегося пейзажа, ведь он не его победа. Не могу помочь насладиться музыкой человеку, который ее не

преодолеет. Одни пришли ко мне, желая получить все без усилий, другие так ищут женщину, которая вложит в них любовь. Но это не в моей власти.

Я беру человека, запираю его, истязая ученьем, потому что слишком хорошо знаю: легкое и доступное – бесплодно, потому что оно – легко и доступно. Напряжение и пот – вот чем мерится польза от работы. Я собираю учителей и говорю им: «Не ошибитесь. Я доверил вам человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, – с тем, чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который оглядел из носилок тысячу гор и тысячу пейзажей; тысяча гор – пылинки в бесконечной Вселенной, – по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот, кто напряжется и одолеет подъем, пусть это будет невысокая горка, в будущем он поймет все другие куда лучше, чем мнимый знаток, с чужих слов рассуждающий о доброй сотне гор.

Если я хочу, чтобы они узнали, что такое любовь, я буду помогать им любить, уча молиться».

Умеющий любить непременно встретит красавицу, которая воспламенит его сердце, но, видя, как он пламенеет, люди убеждаются в могуществе прекрасных лиц – и ошибаются. Преодолевший стихотворение воспламенен им, и все верят в могущество стихов.

Но повторяю: сказав «гора», я обозначил ее для тебя, а тебя колола ежевика на склоне, у тебя кружилась голова над пропастью, ты потел, взбираясь на скалу, рвал цветы, дышал на вершине полной грудью. Я назвал, но не донес ни полноты понятия, ни его сути. Я сказал «гора» толстому лавочнику и оставил пустым его сердце.

Исчезает поэзия не потому, что исчерпали силу стихи. Исчезает любовь не потому, что красота исчерпала силу. Отдаляется Господь, но не потому, что человеческое сердце уже не девственная земля в ночной тьме, которая так нуждалась когда-то в плуге ради цветов и кедров.

Я внимательно всматривался в отношения людей и понял: ум опасен – ум, который верит, что слово передает суть, что в споре рождается истина. Нет, не язык передает меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь обозначаю что-то в себе, и ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя открыты иные пути постижения. Например, нас открыло друг другу чудо любви, или мы – дети одного и того же Бога. Если этого нет, я напрасно пытаюсь извлечь на поверхность таящийся во мне мир и неуклюже выговариваю то одно, то другое, – так о горе, например, я сказал, что она высока, но хотел сказать о холоде близких звезд и могуществе ночи.

XXXVI

Ты пишешь, ты обращаешься к людям, ты словно бы снаряжаешь корабль. Немногие из кораблей достигнут гавани. Большинство затеряется в море. Не так уж много значимых слов продолжает плыть по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного.

Вот и еще одна сложность: людей нужно научить постигать, а не обозначать. Научить, как ставить всевозможные ловушки. Ты привел ко мне человека, что мне до его учености? Учености много и в словарях. Что это за человек – вот что важно. Поэт написал стихи, они согреты его рвением, но ловил он на мелководье, нам ничего не досталось из глубины. Он обозначил весну, но не разбудил весну в моем сердце, я не насытился ею.

Историки, логики, критики совершили открытие: мощное творение всегда хорошо построено. Значит, сила в продуманном плане, обрадовались они. Да, когда город построен, я отчетливо вижу его планировку, но не планировке обязан город своим рождением.

XXXVII

Я смотрю на танцовщиц, певичек и куртизанок моего города. Они заказали себе серебряные носилки и, отправляясь на прогулку, посылают вперед слуг, которые кричат об этом, собирая толпу. Когда рукоплескания толпы, развеяв легкую задумчивость красавицы, вконец измучат ее, она чуть-чуть отодвинет шелковую занавесь и, снисходя до страстного желания обожателей, наклонит к ним свое белоснежное личико, стыдливо улыбнувшись. А слуги будут кричать во всю глотку. Вечером их ждет порка, если любовь тиранов-обожателей не вынудит красавицу нарушить свою стыдливость.

Ванны у красавиц из золота, и толпу приглашают взглянуть, как готовится молоко для купанья. Доят сотню ослиц, добавляют благовония и цветочное молочко, стоит оно бешеных денег, а аромат его так скромн, что его и не почувствуешь.

Я не возмущаюсь цветочному молочку. Немного тратится на него сил в моем царстве, и безумная его цена – иллюзорна. Я не против того, чтобы тратили себя и на роскошества, дорога мне не польза, а рвение. И коль скоро такое молочко существует, то что мне в том, умащаются им мои куртизанки или нет.

Логики осуждают меня, но рвение – единственный закон моего царства. Я вмещаюсь, если народ мой увлечется изготовлением позолоты в ущерб хлебу, но я не против самой позолоты, она золотит их труды, хоть и не нужна насущному. Предназначение ее меня не заботит, но мне кажется, что лучше золотить волосы красавицы, чем дурацкий памятник. Ты возражаешь, что памятник – достояние всех горожан? Но горожане любят и красавицами. Беда памятников – будь они даже Господни храмы – в том, что они радуют взгляд позолотой, но не требуют взамен никаких даров. Красавица пробуждает желание одарить и жертвовать, ты блаженен возможностью дарить. Дарить, а не получать.

Пусть купаются мои красавицы в цветочном молочке. Пусть воплощают собой красоту. Пусть наслаждаются изысканными вредоносными яствами и умирают, поперхнувшись рыбьей косточкой. Они ходят в жемчуге и теряют его. Пусть теряют, жемчуг должен быть эфемерен. Они слушают сказителей и лишаются чувств от переживаний, не забывая грациозно опуститься на ту из подушек, которая лучше всего подходит к их шарфу.

Иногда они позволяют себе и другую роскошь – роскошь любить. Они продают свои жемчуга и гуляют по городу с юным солдатиком: пусть все видят, что он – самый красивый, самый умный, самый стройный, самый мужественный...

Доверчивый мальчик от признательности теряет голову, он не сомневается в щедрости дара, хотя служит тщеславию красавицы, – в городе о ней должны говорить.

XXXVIII

Ах как жаловалась на обидчика эта женщина!

– Разбойник, – кричала она, – тварь продажная! Греховодник! Бесстыжий лгун! Мерзавец!..

– Ты в грязи, – сказал я ей, – пойдی умойся.

Жаловался и другой на несправедливость и клевету.

Никогда не заботься, чтобы твои поступки правильно поняли. Их не поймут, но какая тут несправедливость? Справедливость – химера и чревата несправедливостью. Ты видел в пустыне моих полководцев? Они – благородны; благородны, бедны и выдублены постоянной жаждой. Они спят на голом песке в глухой тени царства. Они добры и готовы повиноваться, хватаясь за оружие при малейшем шорохе. Такими хотел их видеть мой отец, когда позвал: «Встаньте, готовые к смерти, уместившие все свое добро в заплечном мешке! Умеющие подчиняться, великодушные в сражении, великодушные сердцем! Встаньте, я вручу вам ключи своего царства».

И они встали вокруг моей крепости, словно бдительные архангелы. Их достоинство отлично от достоинства министерской прислуги и самих министров тоже. И вот их позвали в столицу, но не посадили во главе праздничного стола, – теперь они обивают пороги в приемных и жалуются: их, воистину достойных, унизили, отведя место слуг. «Горька участь тех, кого не ценят по достоинству», – твердят они.

Я ответил им: «Горька участь тех, кто оценен, возвышен, отблагодарен, кто оказался в чести и разбогател». Он раздулся от дешевых амбиций, променял звездные часы на магазинные покупки. Он был богаче других, достойнее, удивительнее. Для чего же король-одиночка покорился мечтам обывателя? Старого плотника отблагодарит идеальная гладкость его доски. Полководца – идеальный покой в его пустыне. Но в людском водовороте незаметны твои заслуги. Если тебя это обижает, значит, ты не очистился от своекорыстия. Я уже говорил: «Каковы люди, таково и царство. Каждый – частичка царства». И от каждого зависит великолепие кроны. Если этого ты видишь купцом с барышами, отправь его за барышом в пустыню и жди, набравшись терпения. Пройдет несколько лет, и купец твой станет хозяином, ровней ему будет ветер, а другой останется жалким лавочником в своей лавке.

Я покровительствую достойным. Покровительство уже не несправедливость. Не обижайся на слова. Как уродливы на песке длинные голубые рыбы с вуалевыми плавниками, как это несправедливо! Несправедливо наше суждение: рыбы созданы для воды. Они прекрасны там, где кончается песчаный берег. Полководцы пустыни прекрасны там, где утих шум города, крик рыночных зазывал, тщеславие и суета. У них среди песков нет суетности.

Так пусть они утешатся. Стоит им захотеть, и они вновь вернуться в свое царство, я не уничтожал его и не хочу, чтобы они страдали.

Ко мне пришла женщина.

– Я – верная жена своему мужу, – сказала она, – я послушна ему и недурна собой. Я дышу только им одним. Шью ему плащи, перевязываю раны. Все его тяготы я делила с ним. А теперь он проводит время с той, что обворовывает его и над ним смеется.

Я ответил ей:

– Ты судишь и ошибаешься. Кто знает самого себя? Каждый идет к истине, но путь души похож на горное восхождение. Вершина близка, кажется, ты добрался, но с нее видны новые вершины, новые тропы и новые пропасти. Кто может знать, что утолит его жажду? Один не может жить без плеска реки, чтобы услышать его, он готов пожертвовать жизнью. Другого греет лисенок на плече, он пойдет за ним во вражеские владенья. Может, та, о которой ты говоришь,

обязана ему своим рождением. И он за нее в ответе. Ты всегда в долгу перед тем, кого создал. Он идет к ней для того, чтобы она его обокрала. Идет, чтобы она утолила свою жажду. Его не вознаградит нежность, но не ударит и упрек. Наградой ему собственная жертвенность. И еще те слова, которым он ее научил. Он похож на тех, кто возвращается из пустыни: ордена для них не награда, но и неблагодарность не обида. Ты же знаешь, дело не в том, чтобы нажить и пользоваться нажитым, – в том, чтобы нажить самого себя и умереть полным собственной сущности. Пойми, единственная наша награда – смерть, в ней тонет корабль. И счастье, если он полон сокровищ.

На что ты жалуешься? На то, что не в силах его догнать?

Так я понял, что существует брачный союз и существует общность двоих. «Как беден язык, – думал я, – им кажется, что они себя выразили, а они едва-едва что-то обозначили. И как тщательно они все взвешивают, мерят, меряются. Все разумней, точнее, правильней. Правильней некуда. И когда каждый остается со своей правотой – они в тупике. И превращают друг друга в мишень для взаимной стрельбы.

Да, мы в союзе, но все-таки я постараюсь тебя ранить.

XXXIX

Не поддавайся шантажу. Если тебя сегодня зацепили одним, и ты уступил, то завтра зацепят другим, и ты уступишь снова, а значит, сегодняшняя жертва пропала зря.

Нужно чувствовать себя собой, только тогда ты будешь доверять собственному разумению. Поэтому так горд верующий. Чужие сомнения не смущают его, они от тех, кто не способен «понять».

Умей отличать соглашательство от любви. Тот, кто смотрит мне в рот, ожидая, когда я заговорю, мне не нужен. Я иду и ищу в людях свет, подобный моему. Петь хором – одно. Придумать песню – другое. Кто тебе в помощь, когда ты творишь?

Вот и еще одна сложность, над которой придется задуматься: для созидания, творчества плодотворно сотрудничество и совместные поиски. Если ствол дерева пронизывают токи любви, и творчество расцветает. Но это не значит, что человека нужно растворить в сообществе, нет, – речь идет лишь об общем направлении питающих соков, – благодаря им ветви дотягиваются до неба и превращаются в храм. Ошибка здесь та же, что и у логиков: выявив в произведении план, они считают, что план создал произведение, – нет, так оно себя овецствовило. План – это обозначившееся лицо. Не нужно каждого подчинять обществу, пусть каждый подчинится своему делу и понуждает всех остальных расти, хотя бы из чувства противоречия. Я побуждаю всех к созиданию и творчеству. Если они будут жить только полученным от меня, они оскудеют и обнищают. Но я тот, кто готов принять их творения, и они возвеличатся в собственных глазах, глядя на мою мощь, созданную их усилиями. Я оградил своими объятиями их коз, овец, зерно и даже дома, я присвоил их и вернул им обратно, как дар моей любви к ним. Я подарил им и храмы, которые они сами построили...

Но как свобода – не своеволие, так и порядок – не неволя. (О свободе речь еще впереди.)

Славить я буду тишину – музу плодов, жительницу полных житниц, изобильных подвалов и погребов. Восковые соты медвяного проворства пчел, умиротворенное собственной полнотой море.

Глядя с вершины, я погружаю в тебя – о тишина! – свой город. В нем остановились повозки, смолкла уличная разноголосица и звон наковален. Все бережно сложено в чашу вечера. Бдит Господь над усердными, укрыты Его плащом встревоженные и обеспокоенные.

Тишина в женщине, вынашивающей дитя. Тишина налитых молоком сонных грудей. Тишина в женщине – молчание дневных сует, умиротворение жизни, собирающей дни в сноп. Тишина в женщине – святыня и продолжение. В тишине женщины зачинается единственный путь, который непременно куда-то поведет. Она ждет ребенка, он раздвигает ей живот. Тишина – хранилище, куда я поместил свою кровь и свою честь.

Тишина в мужчине – он облокотился на стол, он задумался, он питает и питается соком мысли. Тишина позволяет ему знать и не знать. Как благотворно иной раз незнание. Тишина – это отметание вредоносных паразитов и сорняков. Тишина – хранилище и русло его мыслей.

Тишина самих мыслей. Отдых пчел, они собрали мед, мед – сокровище, его нужно хранить. Ему нужно созреть. Тишина мысли, растящей крылья, как она не любит тревог ума и сердца!..

Тишина сердца. Чувств. Слов в тебе, ибо хорошо, когда ты становишься ближе к Господу, а Он – тишина вечности. В ней все уже высказано, все уже сделано.

Тишина Господа – сон пастуха, нет его слаще, хотя овцы и ягнята всегда в опасности, но как отделить пастуха от овец, когда есть только сон при свете звезд, когда только и есть что руно снов?

Ах, Господи! Перейдут времена, Ты станешь складывать в житницу сотворенное. Ты отворишь дверь болтливому человеческому роду, чтобы навек поместить его у Себя в хлеву, и, как от болезни, разрешишь нас от всех вопросов.

Ибо я понял: продвинуться вперед – значит узнать, что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл. Я спросил своих ученых, а они – нет, не то чтобы они ответили на свои прошлогодние вопросы, они – о Господи! – рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как ненужность этих вопросов.

Я ведь знаю, Господи, что мудрость не умение отвечать, а избавление нашей речи от превратностей. Вот влюбленные сидят на низкой ограде апельсинового сада, они сидят рядышком и болтают ногами, они не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера. Но я знаю любовь, – им не о чем больше спрашивать.

Я перерастаю одно противоречие за другим, и все меньше у меня вопросов, и все ближе я к благодати тишины.

Болтуны! Сколько вреда они принесли людям!

Только безумец может уповать на ответ от Господа. Если Он примет тебя, Он избавит тебя от лихорадки вопросов, отведя их Своей рукой как головную боль. Вот так.

Собирая в житницу сотворенное, открой нам, Господи, створки Твоих ворот, позволь войти туда, где не понадобятся ответы, где вместо ответов будет блаженная безмятежность, которая и есть конец всех вопросов и полнота удовлетворения, – ключ свода, прекрасное лицо.

Вошедшему откроется чистейшая гладь воды, куда просторнее морских гладей, он смутно догадывался о ней, когда, болтая ногами, сидел с любимой на ограде сада, и любимая его была похожа на газель, остановленную на бегу, и слегка задыхалась.

Тишина – гавань для корабля. Тишина Господня – гавань всех кораблей.

XL

Бог послал мне обворожительную лгунью, как просто, мелодично и жестоко она лгала! Я заинтересовался ею, словно ветром, прилетевшим с далекого моря.

– Почему ты лжешь? – спросил я.

А она заплакала и спряталась за своими слезами. Я задумался: почему она плачет?

«Она плачет, – подумал я, – потому что я не поверил ее выдумкам. Я не подыгрываю людям в их пьесах. Не вижу в этом смысла. Она хочет представиться мне другой. Я не вижу тут трагедии. Трагедию переживает женщина, которой так не хочется быть собой. Я совсем не о добродетели, ее устои чтут чаще всего ханжи, а не поистине добродетельные. Добродетельной, как дурнушкой, нужно родиться. А всем остальным – им так хочется быть добродетельными, но и любимыми тоже, они не в силах сладить с собой, а вернее, с окружающими. Они постоянно бунтуют и восстают. И лгут, чтоб оставаться хорошими».

Причина, высказанная словами, никогда не бывает подлинной. Я упрекаю мою лгунью только в том, что она все перевернула с ног на голову. Я не слушаю ее историй, не слушаю шума слов – с молчаливой моей любовью я вглядываюсь в ее усилия. Она рвется и мечется, как лисица в капкане. Птица, окровавившая грудь о прутья клетки. И я обратился к Господу и спросил Его:

– Господи! Почему Ты не дал нам языка, чтобы высказать себя? Слушай я ее не любя, я бы ее повесил. А ведь ее можно и пожалеть: окровавленной птицей мечется она во тьме своего сердца и боится меня. Она похожа на лисицу, которая дрожит, скалится и кусает, пока не вырвет наконец у меня из рук кусочек мяса и не потащит его к себе в нору.

– Повелитель! – обратилась она ко мне. – Они не знают, что я ни в чем не повинна.

Но я-то знал, сколько смуты она внесла в мой дом. Но жестокость Господа терзала мне сердце.

– Помоги ей заплакать, Господи! Пусть она устанет от самой себя и затихнет у меня на плече: она еще не знает, что такое усталость.

Она не понимает, что мечется в ловушке, и мне хочется освободить ее. Да, Господи, я нарушил свой долг, я ее пожалел. Но разве можно пренебречь одной маленькой девочкой в слезах? Она не вся Вселенная, но она – частичка Вселенной. Она мучается, потому что не в силах сбыться. Потому что вспыхивает и рассеивается дымком. Ее лодку перевернула река, она тащит ее, и ей не справиться с течением. Но вот прихожу я, я – ваш берег, кров, суть. Я – новый язык, дом, границы, внутренний стержень.

– Послушай меня, – говорю я ей.

Нужно принять и ее. И других человеческих детей тоже. Особенно тех, кто не узнает, что в силах знать...

Я хочу взять вас за руку и повести к воплощению...

Я – время цветения человека.

XLI

Я видел людей счастливых без очевидной радости свадьбы или здоровья, видел несчастных без очевидного горя смерти или болезни. Больного можно поднять на ноги, сообщив ему необыкновенно важную новость, например, известив о победе, он встанет и побежит в город. Я исцелил целую крепость, войдя на заре с моим победоносным войском, – все были на улицах, все обнимались. Ты спросишь: «А почему бы, собственно, не поддерживать в них счастье вечно гремящими победными фанфарами?» Я отвечу: «Потому что победа – тот же пейзаж, его не получишь в пользование, увидев с вершины горы, его создали твои ноющие от усталости ноги. Пейзаж, победа – переход от одного состояния к другому. Нет победы, которая длилась бы вечно. Дли ее, и она уже не живет, наступает лень, скука, нет победы, есть будни. Так что же? Значит, жить надо, переходя от богатства к бедности и от бедности к богатству? Нет, потому что всю свою жизнь ты можешь бороться с лишениями, с нищетой и накопить только усталость; должник, преследуемый займодавцами, вешается: мелкие радости, кратковременное благополучие не возместят ему ночей, изношенных бессонницей. Как не живет человека богатство или победа, так не живут его и мелкие радости, которые подбрасывают ему, будто охапки сена корове.

Я хочу видеть в мужчинах пылкость и благородство, а у женщин сияющие счастьем глаза. Где мне взять таких мужчин и таких женщин? Нет их вокруг меня, нет их и для себя самих тоже.

Я отвечу: они становятся такими, когда картина мира наполняется смыслом и связями, когда ты повел солдат в военный поход, начал строить храм или одержал победу.

Правда, победа – пища одного дня. Победа одержана, и теперь можно только пожинать ее плоды, но это не значит жить. Почему победа так радостна? Потому что ты рад очутиться со всеми вместе. Вчера в горе, своем или своих детей, ты был один или с немногими друзьями, но вот ты расцвел победой – и с тобой множество людей.

На строительство храма нужен век, целых сто лет богато сердце зодчего. Вкладывая, растешь и растишь возможность выкладываться. Строя изо дня в день свою жизнь, ты обошел круг моего года и, оглянувшись, счастлив ему как празднику, хоть и не сделал никаких припасов. Помни о празднике, ты дарил и дарил и стал куда счастливее, чем если бы устроил праздник один-единственный раз. И в детей мы вкладываем себя, дети нам тоже в радость. В радость и наши груженные корабли в открытом море, им грозят опасности, они их преодолевают и всплывают вместе с командой в новый рассвет.

Вокруг меня возрастает рвение, растет оно от успешных трудов. И писатель – графома-нам такое не в помощь, – чем больше пишет, тем строже оттачивает стиль. Но мне не по нраву усердие, которое во что бы то ни стало хочет преуспеть. Чем больше я узнаю, тем больше хочу знать и тем больше потребляю чужого, тем больше обираю других и, пожирая их, жирею. Тем скуднее у меня душа.

Одержав победу, человек хочет насладиться ее плодами и видит вдруг, что обманулся: он перепутал жар творчества со скучным присутствием вещи, которая его не греет. Конечно, завоеванным пользуются, но желательно пользоваться им, приготавливаясь к новой победе, чтобы воспользоваться вновь завоеванным. Одно должно подстегивать другое. Так танцуется танец, поется песня, так молятся, молитвы рождают рвение, а рвение приводит к молитве. И точно так же живет любовь. Но если я изменился и больше не меняюсь, если не двигаюсь и ни к чему не стремлюсь, чем я отличаюсь от умершего? Вид, открывшийся тебе с горы, в радость до тех пор, пока ноют ноги, трудившиеся ради него, пока тело радо отдыху.

XLII

Я сказал им: «Не стыдитесь ненавидеть». И они приговорили к смерти сто тысяч человек. Смертники сидели по тюрьмам с досками на груди, словно меченый скот в стаде. Я обошел тюрьмы, я смотрел на узников. Люди как люди. Я не нашел отличий. Я вслушивался, наблюдал, смотрел.

Видел, что в тюрьме, как на свободе, делятся хлебом, суетятся вокруг больного ребенка, укачивают его, не спят ночей. Видел, что и в тюрьмах, как на свободе, мучаются одиночеством, если остались одни. Плачут, когда в толще стен вдруг узнали любовь.

Я вспомнил рассказы моих тюремщиков. И попросил привести ко мне преступника, чей нож еще вчера обгадряла кровь. Я допрашивал его сам. Я вглядывался, но не в него, он уже обречен смерти, – в непостижимое в человеке.

Жизнь берет свое где только может. В трещине скалы вырос мох. Первый сухой ветер пустыни уничтожит его. Но мох спрячет свои семена, они будут жить. Кто скажет, что он здесь вырос напрасно?

Смертник объяснил, что над ним смеялись, что уязвляли его гордость, его самолюбие... Самолюбие обреченного смерти...

Я видел: озябнув, узники жались друг к другу. Те же овцы, такие же, что и повсюду на земле.

Тогда я решил посмотреть на судей, созвал их и спросил:

– Почему вы отделили вот этих от всех остальных? Почему у них на груди доски смертников?

– Такова справедливость, – отвечали они.

Я размышлял: да, такова справедливость. Справедливость для судей – это уничтожение того, кто посягнул на общепринятое. Но и негр – посягательство на общепринятое, если он среди белых. И принцесса среди чернорабочих. И художник среди чуждых художеству...

Я сказал судьям:

– Мне хотелось бы, чтобы вам показалось справедливым отпустить их всех на свободу. Попробуйте понять меня. Представьте: узники захватили власть в тюрьме и, значит, они вынуждены посадить в тюрьму вас, а потом, может быть, и уничтожить. Я не думаю, что от таких мер царство улучшится.

Так я въяве увидел кровавое безумие, причина которого – образ мыслей, и стал молиться Господу:

– Безумие владело и Тобой, Господи, когда Ты позволил им довериться своему жалкому лепету. Кто научит их, нет, не словам, – тому, как ими пользоваться. Ветер слов, перепутавший все на свете, убедил их в необходимости пыток. От неловких, неумелых, бессильных слов родилась умелая, ловкая сила пыток.

Но в тот же миг мои рассуждения показались мне жалким лепетом и вместе с тем желанием кого-то рассудить.

XLIII

Все, что не живетя тобой и сейчас, – выдумка. Слава – выдумка. И наше восхищение вот этим победителем тоже выдумка.

Выдумка и новости, потому что завтра от них ничего не уцелеет.

Учись, ощупывая форму, нащупывая структуру. Наполнение, содержание – всегда чьи-то выдумки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.